

ДОБРОДЕТЕЛЬ ЭГОИЗМА

ТВОРЧЕСТВО

НОНКОНФОРМИЗМ

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ

Айн Рэнд

ИСТОЧНИК

EDITOR'S
CHOICE



МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР

 альпина
ПАРИШЕРС

Айн Рэнд

Источник

Серия «Книги Айн Рэнд»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4243035
Источник: Альпина Паблишерз; Москва; 2011
ISBN 978-5-9614-2011-1

Аннотация

Айн Рэнд (1905–1982) – наша бывшая соотечественница, ставшая крупнейшей американской писательницей. Автор четырех романов-бестселлеров и многочисленных статей. Создатель философской концепции, в основе которой лежит принцип свободы воли, главенство рациональности и "нравственность разумного эгоизма".

На протяжении десятилетий роман "Источник" держится в списке мировых бестселлеров, став классикой для миллионов читателей. Главные герои романа – архитектор Говард Рорк и журналистка Доминик Франкон – отстаивают свободу творческой личности в борьбе с обществом, где ценят "равные возможности" для всех. Вместе и поодиночке, друг с другом и друг против друга, но всегда – наперекор устоям толпы. Они – индивидуалисты, их миссия – творить и преобразовывать мир.

Содержание

Editor's choice – выбор главного редактора	5
Предисловие	7
Часть первая	11
I	11
II	37
III	59
IV	89
V	123
VI	148
VII	169
VIII	186
IX	205
X	231
XI	263
XII	284
XIII	327
Конец ознакомительного фрагмента.	354

Айн Рэнд

Источник

Редакторы *М. Корнеев, С. Лиманская, Е. Паутова*

Технический редактор *Н. Лисицына*

Корректоры *О. Ильинская, Е. Чудинова*

Компьютерная верстка *М. Поташкин*

© The Bobb-Merrill Company 1943

© Ayn Rand, 1968, 1971 renewed

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО

«Альпина Бизнес Букс», 2008

© Электронное издание. ООО «Альпина», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Editor's choice – выбор главного редактора



На мой взгляд, начинать знакомство с творчеством Айн Рэнд лучше всего с романа «Источник». Его сюжет увлекателен и непредсказуем, а философские идеи поданы отчетливо и просто.

Прочтение «Источника» поможет в дальнейшем по-настоящему понять идеи романа «Атлант расправил плечи», а также философско-публицистических книг Айн Рэнд.

Алексей Ильин,

генеральный директор издательства «Альпина Паблишерз»

Фрэнку О'Коннору

¹ Следует учесть, что имена персонажей, топонимы, наименования общественных организаций, фирм, названия сооружений, периодических изданий и т. п., непосредственно связанных с сюжетом, носят в романе Айн Рэнд по большей

Предисловие

Уважаемый читатель, в ваших руках первый том известного произведения Айн Рэнд.

В романе «Источник» четко определена жизненная позиция автора, показаны основы ее философии.

Впрочем, любитель увлекательного чтения может не пугаться – в романе нет скучных философских рассуждений. Несмотря на внушительный объем, сюжет захватывает с первых страниц и очень трудно оторваться от чтения, не узнав, чем закончится тот или иной его поворот. И тем не менее «Источник» – в значительной степени философский роман.

Рэнд говорила: «Если бы от всех философов потребовали представить их идеи в форме романов и драматизировать точное, без тумана, значение и последствия их философии в человеческой жизни, философов стало бы намного меньше, но они были бы намного лучше». Неудивительно поэтому, что философские идеи интересовали ее только в том смысле, в каком они влияют на реальное существование человека. Кстати, к этому Рэнд добавляла, что и сами люди интересуют ее только в том смысле, в каком они преломляют в себе философские идеи.

Как философ А. Рэнд представила новую моральную теорию, как романист – искусно вплела ее в увлекательное художественное произведение. В чем же суть этой новой морали?

Русского человека с детства приучали (и при большевиках, и задолго до их революции), что благополучие общины, отечества, государства, народа и еще чего-то подобного неизмеримо важнее его личного благополучия, что добиваться личного счастья, не считаясь с интересами некоего коллектива, значит быть эгоистом. А это, конечно же, аморально, то есть очень-очень плохо.

Айн Рэнд категорически и без всяких оговорок отвергает приоритет чьих бы то ни было интересов над интересами личности. «Я клянусь своей жизнью и любовью к этой жизни, – писала она, – что никогда не буду жить во имя другого человека и не заставлю другого человека жить во имя меня».

Казалось бы, все просто: живи в свое удовольствие, добивайся благополучия для себя самого. Только в чем оно, это благополучие? Вкусно есть и сладко спать? Но в том-то и дело, что для такого благополучия совсем не обязательна свобода. Более того, она мешает получать от жизни примитивные удовольствия, принуждая думать, принимать решения, рисковать и нести ответственность за свои действия, – по меньшей мере перед самим собой.

Видимо, не случайно лидеры тоталитарных неонацистских режимов пользуются популярностью. И дело вовсе не в них как лидерах, а в миллионах ленивых умом и жаждущих максимально сильной власти над собой, поскольку только она, сильная власть, способна без проволочек решить все их личные проблемы и дать возможность удовлетворения всех

их низменных инстинктов.

Говард Рорк, главный герой романа, видит свое личное благополучие в любимой работе и в том, чтобы делать ее так, как он считает нужным. Он архитектор. Он предлагает проекты домов, но общество не принимает их. Общество требует традиционных решений. Однако Рорк не поддается общему течению и, усложняя себе личную жизнь, борется за свое право на творчество. Так, может быть, он заботится о людях, которые будут жить в его домах, и ради них мучается и страдает?

Говард Рорк – эгоист высшей пробы. Люди в его жизни играют второстепенную роль. Личное счастье и благополучие он находит в самом процессе созидания. Не во имя кого-то или чего-то, а только во имя себя! Он, как всякий истинный творец, не ждет похвал и признания окружающих. Он работает не ради них и не ради их благодарности. Он уже получил наивысшее удовлетворение от работы в процессе самой работы и может бесконечно наслаждаться, созерцая творение своего разума.

«Главной целью этой книги, – писала А. Рэнд, – является защита эгоизма в его настоящем смысле». Но автор не только защищает эгоизм, она утверждает, что эго личности – источник прогресса человечества.

Идеи Айн Рэнд многим покажутся новыми и спорными. Мы готовы вступить в дискуссию с каждым желающим. Кстати сказать, уже после первой рекламной публикации в газе-

те «Книжное обозрение» (ноябрь 1993 года) издательский отдел Ассоциации бизнесменов Санкт-Петербурга получил много писем от граждан России с заявками на книги А. Рэнд. Россияне надеются обрести с помощью этих книг способность противостоять жизненным трудностям и силу духа, ведущую к личному счастью и благополучию.

Мы твердо убеждены в том, что идеи Айн Рэнд помогут каждому принявшему их своим разумом.

Д. Костыгин

Часть первая

Питер Китинг

I

Говард Рорк смеялся.

Он стоял обнаженный на краю утеса. У его подножья расстилалось озеро. Всплеск гранита взметнулся к небу и застыл над безмятежной водой. Вода казалась недвижимой, утес – плывущим. В нем чувствовалось оцепенение момента, когда один поток сливается с другим – встречным и оба застывают на мгновение, более динамичное, чем само движение. Поверхность камня сверкала, щедро облизанная солнечными лучами.

Озеро казалось лишь тонким стальным диском, филигранно разрезавшим утес на две части. Утес уходил в глубину, ничуть не изменившись. Он начинался и заканчивался в небе. Весь мир, казалось, висел в пространстве, словно покачивающийся в пустоте остров, прикрепленный якорем к ногам человека, стоящего на скале.

Он стоял на фоне неба, расправив плечи. Длинные прямые линии его крепкого тела соединялись углами суставов; даже рельефные изгибы мышц казались разломленными на

касательные. Руки с развернутыми ладонями свисали вниз. Он стоял, чувствуя свои сведенные лопатки, напряженную шею и тяжесть крови, прилившей к ладоням. Ветер дул сзади – он ощущал его желобком на спине – и трепал его волосы, не светлые и не каштановые, а в точности цвета корки спелого апельсина.

Он смеялся над тем, что произошло с ним этим утром, и над тем, что еще предстояло.

Он знал, что предстоящие дни будут трудными. Остались нерешенные вопросы, нужно было выработать план действий на ближайшее время. Он знал, что должен позаботиться об этом, но знал также, что сейчас ни о чем думать не будет, потому что в целом ему все уже было ясно, общий план действий давно определен и, наконец, потому что здесь ему хотелось смеяться.

Он только что попробовал обдумать все эти вопросы, но отвлекся, глядя на гранит.

Он уже не смеялся; взгляд его замер, вбирая в себя окружающий пейзаж. Лицо его было словно закон природы – неизменный, неумолимый, не ведающий сомнений. На лице выделялись высокие скулы над худыми впалыми щеками, серые глаза, холодные и пристальные, презрительный плотно сжатый рот – рот палача или святого.

Он смотрел на гранит, которому, думал он, предстоит быть расчлененным и превращенным в стены, на деревья, которые будут распилены на стропила. Он видел полосы окис-

ленной породы и думал о железной руде под землей, переплавленная, она обретет новую жизнь, взметнувшись к небу стальными конструкциями.

Эти горы, думал он, стоят здесь для меня. Они ждут отбойного молотка, динамита и моего голоса, ждут, чтобы их раздробили, взорвали, расколотили и возродили. Они жаждут формы, которую им придадут мои руки.

Затем он потрянул головой, снова вспомнив о том, что произошло этим утром, и о том, что ему предстоит много дел. Он подошел к самому краю уступа, поднял руки и нырнул вниз.

Переплыв озеро, он выбрался на скалы у противоположного берега, где оставил свою одежду. Он с сожалением посмотрел по сторонам. В течение трех лет, с тех пор как поселился в Стентоне², всякий раз, когда удавалось выкроить часок, что случалось не часто, он приходил сюда, чтобы расслабиться: поплавать, отдохнуть, подумать, побыть одному, вдохнуть полной грудью. Обретя свободу, он первым делом захотел вновь прийти сюда. Он знал, что видит эти скалы и озеро в последний раз. Этим утром его исключили из школы архитектуры Стентонского технологического института.

Он натянул старые джинсы, сандалии, рубашку с короткими рукавами, лишенную большинства пуговиц, и зашагал

² Под «известнейшим... Стентонским технологическим институтом» подразумевается, очевидно, Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) в Кембридже (штат Массачусетс). Институт основан в 1861 г., новое здание занимает с 1915 г.

по узкой стежке среди валунов к тропе, сбегавшей по зеленому склону к дороге внизу.

Он шел быстро, спускаясь по вытянувшейся далеко вперед, освещенной солнцем дороге со свободной и небрежной грацией опытного ходока. Далеко впереди лежал Стентон, растянувшийся вдоль побережья залива Массачусетс. Городок выглядел оправой для жемчужины – известнейшего института, возвышавшегося на холме.

Стентон начался свалкой. Унылая гора отбросов высилась среди травы, слабо дымя. Консервные банки тускло блестели на солнце. Дорога вела мимо первых домов к церкви – готическому храму, крытому черепицей, окрашенной в голубой цвет. Вдоль стен здания громоздились прочные деревянные опоры, ничего не поддерживающие, сверкали витражи с богатым узором из искусственного камня. Отсюда открывался путь в глубь длинных улиц, окаймленных вычурными, претенциозными лужайками. В глубине лужаек стояли деревянные домищи уродливой формы – с выпирающими фронтонами, башенками, слуховыми окнами, выпяченными портиками, придавленными тяжестью гигантских покатых крыш. Белые занавески колыхались на окнах, у боковых дверей стоял переполненный мусорный бак. Старый пекинес сидел на подушечке рядом с входной дверью, из полураскрытой пасти его текла слюна. Пленки развевались на ветру между колоннами крыльца.

Люди оборачивались вслед Говарду Рорку. Некоторые за-

стывали, изумленно глядя на него с неожиданным и необъяснимым негодованием, – это было инстинктивное чувство, которое пробуждалось у большинства людей в его присутствии. Говард Рорк никого не видел. Для него улицы были пустыни, он мог бы совершенно спокойно пройти по ним голым.

Он пересек центр Стентона – широкий заросший зеленью пустырь, окаймленный окошками магазинов. Окошки кичились свежими афишами, возвещавшими: «Приветствуем наших выпускников! Удачи вам!» Сегодня днем курс, начавший обучение в Стентонском технологическом институте в 1922 году, получал дипломы.

Рорк медленно направился по улице туда, где в конце длинного ряда строений на пригорке над зеленой ложиной стоял дом миссис Китинг. Он три года снимал комнату в этом доме.

Миссис Китинг была на веранде. Она кормила пару канареек, сидевших в подвешенной над перилами клетке. Ее пухлая ручка замерла на полпути, когда она увидела Говарда. Она с любопытством смотрела на него и пыталась состроить гримасу, долженствующую выразить сочувствие, но преуспела лишь в том, что показала, какого труда ей это стоит.

Он шел через веранду, не обращая на нее внимания. Она остановила его:

– Мистер Рорк!

– Да.

– Мистер Рорк, я так сожалею... – Она запнулась. – О том, что случилось этим утром.

– О чем? – спросил он.

– О вашем исключении из института. Не могу передать вам, как мне жаль; я только хотела, чтобы вы знали, что я вам сочувствую.

Он стоял, глядя на нее. Миссис Китинг казалось, что он ее не видит, но она знала, что это не так. Он всегда смотрит на людей в упор, и его проклятые глаза ничего не упускают. Один его взгляд внушает людям, что их как будто и не существует. Говард просто стоял и смотрел, не отвечая ей.

– Но я считаю, – продолжала она, – что если кто-то в этом мире страдает, то только по недоразумению. Конечно, теперь вы вынуждены будете отказаться от профессии архитектора, разве нет? Но молодой человек всегда может заработать на приличную жизнь, устроившись клерком, в торговле или где-нибудь еще.

Он повернулся, собираясь уйти.

– О мистер Рорк! – воскликнула она.

– Да?

– Декан звонил вам в ваше отсутствие. – На этот раз она надеялась дождаться от него какой-нибудь реакции; это было бы все равно что увидеть его сломленным. Она не знала, что в нем было такого, из-за чего у нее всегда возникало желание увидеть его сломленным.

– Да? – спросил он.

– Декан, – повторила она неуверенно, пытаясь вернуть утраченные позиции. – Декан собственной персоной, через секретаря.

– Ну и?

– Она велела передать вам, что декан хочет видеть вас немедленно после вашего возвращения.

– Спасибо.

– Как вы полагаете, чего он может хотеть *сейчас*?

– Не знаю.

Он сказал: «Не знаю», а она отчетливо услышала: «Мне плевать». И недоверчиво уставилась на него.

– Кстати, – сказала она, – у моего Питти сегодня выпускной вечер. – Она сказала это совершенно не к месту.

– Сегодня? Ах да.

– Это великий день для меня. Когда я думаю о том, как сэкономила, вкалывала, как рабыня, чтобы дать мальчику образование... Не подумайте, что я жалуясь. Я не из тех, кто жалуется. Питти – очень одаренный мальчик. Но конечно, – торопливо продолжала она, оседлав любимого конька, – я не из тех, кто хвастается. Одним матерям повезло, другим нет. Мы все имеем то, чего заслуживаем. Питти себя еще покажет. Я не принадлежу к тем, кто хочет, чтобы их дети убивали себя работой, и буду благодарна Господу, если к моему мальчику придет даже малый успех. Но даже его мать понимает, что он пока еще не лучший архитектор Соединенных Штатов.

Он сделал движение, намереваясь уйти.

– Но что же это я делаю, болтая здесь с вами! – проворковала она весело. – Вам нужно поторапливаться – переодеться и бежать. Декан ждет вас.

Миссис Китинг стояла, глядя через дверь веранды вслед его худощавой фигуре, пересекавшей ее строгую, аккуратную гостиную. Он всегда заставлял ее чувствовать себя неудобно, пробуждая неясное предчувствие, будто он вот-вот не спеша развернется и вдребезги разобьет ее кофейные столики, китайские вазы, фотографии в рамках. Он никогда не проявлял подобной склонности, но она, не зная почему, все время ожидала этого.

Рорк поднялся к себе в комнату. Это была большая пустая комната, светлая от чисто оштукатуренных стен. У миссис Китинг никогда не было чувства, что Рорк действительно здесь живет. Он не добавил ни единой вещи к самому необходимому из обстановки, которой она великодушно снабдила комнату, ни картины, ни вымпела – ни одной теплой человеческой мелочи. Он ничего не принес в комнату, кроме одежды и чертежей – немного одежды и очень много чертежей, загромоздивших весь угол. Иногда миссис Китинг думала, что здесь живут чертежи, а не человек.

Рорк и пришел за чертежами – их нужно было упаковать в первую очередь. Он поднял один из них, потом другой, затем еще один и встал, глядя на широкие листы.

Это были эскизы зданий, подобных которым не было на

земле – словно их создал первый человек, родившийся на свет, никогда не слышавший о том, как строили до него. О них нечего было сказать, кроме того, что каждое было именно тем, чем должно быть. Они выглядели совсем не так, будто проектировщик, натужно размышляя, сидел над ними, соединяя двери, окна, колонны в соответствии с книжными предписаниями, приукрашивая все по своей прихоти, пытаясь вычурностью форм скрыть отсутствие идеи. Дома как будто выросли из земли с помощью некой живой силы – совершенной и беспристрастно правильной. Руке, прочертившей тонкие карандашные линии, еще многому предстояло учиться, но не было штриха, казавшегося лишним, не было ни одной пропущенной плоскости. Здания выглядели строгими и простыми, но лишь до тех пор, пока кто-нибудь не начинал рассматривать их ближе и не понимал, каким трудом, какой сложностью метода, каким напряжением мысли достигнута эта простота. И не было законов, определивших какую-либо деталь. Эти здания не были ни готическими, ни классическими, ни ренессансными. Они были только творениями Говарда Рорка.

Он стоял, глядя на эскиз. Это был тот самый эскиз, который до сих пор его не удовлетворял. Он начертил его как упражнение, которое придумал себе сверх учебных заданий; Говард часто делал так, когда находил какое-нибудь особенно интересное место и останавливался прикинуть, какой дом там должен стоять. Он проводил целые ночи, уставившись в

этот эскиз, желая понять, что упустил. Взглянув на него теперь, без подготовки, он увидел ошибку.

Он швырнул эскиз на стол и склонился над ним, набрасывая четкие линии прямо поверх своего аккуратного рисунка. Время от времени он останавливался и распрямлялся, чтобы взглянуть на весь лист; кончики его пальцев сжимали бумагу, словно дом был в его длиннопалых, с выпуклыми венами и выпирающими костями руках.

Часом позже он услышал стук в дверь.

– Войдите! – крикнул он, не отрываясь от чертежа.

– Мистер Рорк! – Миссис Китинг разинула рот, уставившись на него через порог. – Что вы делаете?

Он обернулся и взглянул на нее, пытаясь припомнить, кто она такая.

– А как же декан? – простонала она. – Декан, который ждет вас.

– А, – сказал Рорк. – Ах да. Я забыл.

– Вы... *забыли*?!

– Да. – Нотка изумления появилась в его голосе, он был удивлен ее удивлением.

– Хорошо. Только вот что я хотела сказать. – Она поперхнулась. – Вас исключили – и правильно сделали. Очень правильно. Церемония начинается в четыре тридцать, а вы надеетесь, что декан найдет время поговорить с вами?

– Я иду сейчас же, миссис Китинг.

Ее толкало к действию не только любопытство; это был

тайный страх, что приговор совета может быть отменен. Рорк направился в ванную в конце холла. Она наблюдала за ним, пока он умывался, приводил свои разметанные прямые волосы в некое подобие порядка. Он снова вышел и уже было направился к лестнице, когда она поняла, что он уходит.

– Мистер Рорк! – Она удивленно указывала на его костюм. – Вы же не пойдете в *этом*?

– А почему бы и нет?

– Но ведь это ваш *декан*!

– Теперь уже нет, миссис Китинг.

Она ошеломленно подумала, что он сказал это так, будто был совершенно счастлив.

Стентонский технологический институт стоял на холме, его зубчатые стены подобно короне возвышались над распростертым внизу городом. Институт выглядел средневековой крепостью с готическим собором, поднимающимся в центре. Крепость полностью соответствовала своему назначению – у нее были крепкие кирпичные стены с редкими бойницами; валами, позади которых могли ходить обороняющиеся лучники; угловыми башнями, с которых на атакующих можно было лить кипящее масло – если бы таковая необходимость появилась у учебного заведения. Собор высился над всем этим в своем резном великолепии – тщетная защита от двух злейших врагов: света и воздуха.

Кабинет декана походил на часовню, призрачный сумрак питался через единственное высокое окно с витражом. Мут-

ный свет просачивался через одежды пораженных столбняком святых, неестественно выгнувших руки в локтях. Красное и багровое пятна покоились на подлинных фигурках химер, свернувшихся в углах камина, который никогда не топили. Зеленое пятно лежало в центре изображения Парфенона³, висевшего над камином.

Когда Рорк вошел в кабинет, очертания фигуры декана неясно плавали позади письменного стола, покрытого резьбой на манер столика в исповедальне. Декан был низеньким толстым джентльменом, чья полнота несколько сглаживалась непоколебимым чувством собственного достоинства.

– Ах да, Рорк! – Он улыбнулся. – Присаживайтесь, пожалуйста.

Рорк сел. Декан сплел пальцы на животе и замер в ожидании предполагаемой просьбы. Ее не последовало. Декан прочистил горло.

– Мне нет необходимости выражать сожаление в связи с неприятным событием, происшедшим сегодня утром, – начал он, – поскольку я считаю само собой разумеющимся, что вы всегда знали о моей искренней заинтересованности в вашем благополучии.

– Абсолютно никакой необходимости, – подтвердил Рорк. Декан подозрительно посмотрел на него, но продолжил:

³ Мраморный храм богини Афины Парфенос (Афины Девы) на акрополе в Афинах. Прославленный памятник древнегреческой высокой классики (448–438 до н. э.). Сооружен архитекторами Иктином и Калликратом под руководством скульптора Фидия. Разрушен в 1687 г., частично восстановлен.

– Нет также необходимости упоминать, что я не голосовал против вас. Я воздержался. Но вам, вероятно, будет приятно знать, что на совете у вас была очень решительная группа защитников. Маленькая, но решительная. Профессор строительной техники выступал от вашего имени прямо как крестonosец. И ваш профессор математики тоже. Но, к сожалению, те, кто посчитал своим долгом проголосовать за ваше исключение, абсолютно превзошли остальных числом. Профессор Питеркин, ваш преподаватель композиции, решил дело. Он даже пригрозил подать в отставку, если вы не будете исключены. Вы должны понять, как сильно вы его спровоцировали.

– Я понимаю, – сказал Рорк.

– Понимаете, в этом-то все и дело. Я говорю о вашем отношении к занятиям по архитектурной композиции. Вы никогда не уделяли им должного внимания. Однако вы блистали во всех инженерных науках. Конечно, никто не станет отрицать важности технических аспектов строительства для будущего архитектора, но к чему впадать в крайности? Зачем пренебрегать артистической, творческой, так сказать, стороной вашей профессии и ограничиваться сухими техническими и математическими предметами? Ведь вы намеревались стать архитектором, а не инженером-строителем.

– Теперь все это, пожалуй, ни к чему, – согласился Рорк. – Все уже позади. Теперь нет смысла обсуждать, какие предметы я предпочитал.

– Я очень хочу вам помочь, Рорк. По справедливости, вы должны признать это. Вы не можете сказать, что вас не предупредили до того, как это случилось.

– Предупреждали.

Декан задвинулся в своем кресле, он почувствовал себя неудобно. Глаза Рорка вежливо смотрели прямо на него. Декан думал: «Нет ничего плохого в том, как он смотрит на меня, действительно, он абсолютно корректен, вежлив как подбавляет; только впечатление такое, будто меня здесь нет».

– Любая задача, которую перед вами ставили, – продолжал декан, – любой проект, который вы должны были разработать, – что вы делали с ними? Каждый из них сделан в том – ну не могу назвать это стилем, – в той вашей неподражаемой манере, которая противоречит всем основам, которыми мы пытались вас научить, всем укоренившимся образцам и традициям искусства. Возможно, вы думаете, что вы, что называется, модернист, но это даже не модернизм. Это... это полное безумие, если вы не возражаете.

– Не возражаю.

– Когда вам задавали проекты, оставлявшие выбор стиля за вами, и вы сдавали одну из ваших диких штук, ладно, будем откровенны, ваши учителя засчитывали вам это, потому что не знали, как это понимать. Но когда вам задавали упражнение в историческом стиле: спроектировать часовню в тюдоровском духе⁴ или здание французской оперы,

⁴ Стиль архитектуры тюдор (поздний перпендикулярный стиль) относится

вы сдавали нечто напоминающее коробки, сваленные друг на друга без всякого смысла. Можете ли вы сказать – это было неправильное понимание задания или откровенное неповиновение?

– Неповиновение, – сказал Рорк.

– Мы хотели дать вам шанс – ввиду ваших блестящих достижений по всем другим предметам. Но когда вы сдали это, – декан со стуком уронил кулак на лист, развернутый перед ним, – такую ренессансную виллу в курсовом проекте – право, мой мальчик, это было уже слишком. – На листе был изображен дом из стекла и бетона. В углу стояла острая угловатая подпись: Говард Рорк. – Вы рассчитывали, что мы сможем зачесть вам это?

– Нет.

– Вы просто лишили нас выбора. Естественно, теперь вы ожесточены против нас, но...

– Ничего подобного я не чувствую, – спокойно сказал Рорк. – Я должен объясниться. Обычно я не позволяю себе подчиняться обстоятельствам. На этот раз я допустил ошибку. Я не должен был ждать, пока вы меня вышибете. Я должен был давным-давно уйти сам.

– Ну-ну, не раздражайтесь. Вы заняли неправильную позицию, особенно ввиду того, что я собираюсь вам сказать. – Декан улыбнулся и доверительно наклонился вперед, насла-

ко времени правления английской династии Тюдоров (1485–1603). Отличается плоскими арками, мелкими карнизами и деревянной обшивкой стен.

ждаясь увертюрой к доброму делу. – Вот истинная цель нашего разговора. Мне очень хотелось сообщить ее вам как можно быстрее, чтобы вы не чувствовали себя брошенным. О, я лично подвергал себя риску, сообщая об этом президенту, с его-то нравом, но... Имейте в виду, он не принял на себя никаких обязательств, но... Вот каково положение дел: теперь, когда вы понимаете, насколько это все серьезно, если вы подождете год, успокоитесь, все обдумаете, скажем, повзрослеете, у нас, возможно, появится шанс взять вас обратно. Имейте в виду, я ничего не обещаю – это исключительно неофициально, это против наших правил, но, принимая во внимание особые обстоятельства и ваши блестящие достижения, такая возможность не исключается.

– Думаю, что вы меня не поняли, – сказал Рорк. – Почему вы решили, что я хочу вернуться?

– Что такое?

– Я не вернусь. Кроме того, мне здесь больше нечему учиться.

– Я вас не понимаю, – надменно отчеканил декан.

– Что тут объяснять? Теперь это не имеет к вам никакого отношения.

– Будьте так любезны объясниться.

– Если желаете. Я хочу быть архитектором, а не археологом. Я не вижу смысла в реанимации ренессансных вилл. Зачем мне учиться проектировать их, если я никогда не буду их строить?

– Мой дорогой мальчик, великий стиль Возрождения отнюдь не мертв. Дома в этом стиле возводятся каждый день.

– Возводятся и будут возводиться, но только не мной.

– Бросьте, Рорк. Это же ребячество.

– Я пришел сюда учиться строительству. Когда передо мной ставили задачу, главным для меня было научиться решать ее так, как в будущем я буду решать ее на деле, так, как буду строить. Я научился здесь всему, чему мог, занимаясь теми самыми строительными науками, которые вы не одобряете. Тратить же еще год на срисовывание итальянских открыток я не намерен.

Час назад декан желал, чтобы этот разговор проходил как можно спокойнее. Теперь ему хотелось, чтобы Рорк проявил хоть какие-нибудь чувства; ему казалось неестественным, что человек ведет себя совершенно непринужденно в подобных обстоятельствах.

– Вы хотите сказать, что всерьез думаете строить *таким образом*, когда станете архитектором – если, конечно, станете?

– Да.

– Мой дорогой друг, кто вам позволит?

– Это не главное. Главное – кто меня остановит?

– Послушайте, это серьезно. Мне жаль, что я не поговорил с вами подробно и основательно намного раньше... Знаю, знаю, знаю, не перебивайте меня, вы увидели одно-два модернистских здания и вообразили... Но понимаете ли вы,

что весь так называемый модерн – преходящий каприз? Вы должны осознать и принять – и это подтверждено всеми авторитетами, – что все прекрасное в архитектуре уже сделано. Каждый стиль прошлого – неисчерпаемый кладезь. Мы можем только брать из великих стилей прошлого. Кто мы такие, чтобы поправлять или дополнять их? Мы можем лишь, преисполняясь почтения, пытаться их повторить.

– А зачем? – спросил Говард Рорк.

«Нет, – подумал декан, – нет, мне просто послышалось, он больше ничего не сказал; это совершенно невинное слово, и в нем нет никакой угрозы».

– Но это очевидно! – сказал декан.

– Смотрите, – спокойно сказал Рорк и указал на окно. – Вы видите кампус⁵ и город? Видите, сколько людей ходит, живет там внизу? Так вот, мне наплевать, что кто-нибудь из них или все они думают об архитектуре и обо всем остальном тоже. Почему же я должен считаться с тем, что думали их дедушки?

– Это наши священные традиции.

– Почему?

– Ради всего святого, не будьте таким наивным!

– Но я не понимаю. Почему вы хотите, чтобы я считал *это* великим произведением архитектуры? – Он указал на изображение Парфенона.

– *Это*, – отрезал декан, – Парфенон.

⁵ Территория университета или колледжа (включая парк).

– И что?

– Я не могу тратить время на столь глупые вопросы.

– Хорошо. Далее. – Рорк встал, взял со стола длинную линейку и подошел к картине. – Могу я сказать, что здесь ни к черту не годится?

– Это *Парфенон*! – повторил декан.

– Да, черт возьми, Парфенон! – Линейка ткнулась в стекло поверх картины. – Смотрите, – сказал Рорк. – Знаменитые капители⁶ на не менее знаменитых колоннах – для чего они здесь? Для того чтобы скрыть места стыков в дереве – когда колонны делались из дерева, но здесь они не деревянные, а мраморные. Триглифы⁷ – что это такое? *Дерево*. Деревянные балки, уложенные тем же способом, что и тогда, когда люди начинали строить деревянные хижины. Ваши греки взяли мрамор и сделали из него копии своих деревянных строений, потому что все так делали. Потом ваши мастера Возрождения пошли дальше и сделали гипсовые копии с мраморных копий колонн из дерева. Теперь пришли мы, делая копии из стекла и бетона с гипсовых копий мраморных копий колонн из дерева. Зачем?

⁶ *Головные, венчающие* – нередко орнаментированные – части колонны, столба или пилястры, расположенные между стволом опоры и горизонтальным перекрытием (антаблементом).

⁷ Триглифы (греч. triglyphos – с тремя нарезками) – прямоугольные каменные плиты с продольными врезами. Чередуюсь с метопами (прямоугольными, почти квадратными плитами, часто украшенными скульптурой), составляют фриз (см. ниже) дорического ордера.

Декан сидел, глядя на него с любопытством. Что-то приводило его в недоумение – не слова, но что-то в манере Рорка произносить их.

– Традиции, правила? – говорил Рорк. – Вот мои правила: то, что можно делать с одним веществом, нельзя делать с другим. Нет двух одинаковых материалов. Нет на земле двух одинаковых мест, нет двух зданий, имеющих одно назначение. Назначение, место и материал определяют форму. Если в здании отсутствует главная идея, из которой рождаются все его детали, его ничем нельзя оправдать и тем более объявить творением. Здание живое, оно как человек. Его целостность в том, чтобы следовать собственной правде, собственной теме и служить собственной и единственной цели. Человек не берет займы свои члены, здание не заимствует части своей сущности. Его творец вкладывает в него душу, выражает ее каждой стеной, окном, лестницей.

– Но все подходящие формы выражения давно открыты.

– Выражения чего? Парфенон не служил тем же целям, что его деревянный предшественник. Аэропорт не служит той же цели, что Парфенон. Каждая форма имеет собственный смысл, а каждый человек сам находит для себя смысл, форму и назначение. Почему так важно, что сделали остальные? Почему освящается простой факт подражательства? Почему прав кто угодно, только не ты сам? Почему истину заменяют мнением большинства? Почему истина стала фактом арифметики, точнее, только сложения? Почему все вы-

ворачивается и уродуется, лишь бы только соответствовать чему-то другому? Должна быть какая-то причина. Я не знаю и никогда не знал. Я бы хотел понять.

– Ради всего святого, – сказал декан, – сядьте... Так-то лучше... Не будете ли вы так любезны положить эту линейку?.. Спасибо... Теперь послушайте. Никто никогда не отрицал важности современной технологии в архитектуре. Но мы должны научиться прилагать красоту прошлого к нуждам настоящего. Голос прошлого – голос народа. Ничто и никогда в архитектуре не изобреталось одиночкой. Настоящее творчество – медленный, постепенный, анонимный и в высшей степени коллективный процесс, в котором каждый человек сотрудничает с остальными и подчиняется законам большинства.

– Понимаете, – спокойно сказал Рорк, – у меня впереди есть, скажем, шестьдесят лет жизни. Большая ее часть пройдет в работе. Я выбрал дело, которое хочу делать, и если не найду в нем радости для себя, то только приговорю себя к шестидесяти годам пытки. Работа принесет мне радость, только если я буду выполнять ее наилучшим из возможных для меня способов. Лучшее – это вопрос правил, и я выдвигаю собственные правила. Я ничего не унаследовал. За мной нет традиции. Возможно, я стою в ее начале.

– Сколько вам лет? – спросил декан.

– Двадцать два, – ответил Рорк.

– Вполне простительно, – сказал декан с заметным облег-

чением. – Вы это все перерастете. – Он улыбнулся: – Старые нормы пережили тысячелетия, и никто не смог их улучшить. Кто такие ваши модернисты? Скоротечная мода, эксгибиционисты, пытающиеся привлечь к себе внимание. Вам не случилось наблюдать за их судьбами? Можете назвать хоть одного, кто достиг сколько-нибудь устойчивой известности? Посмотрите на Генри Камерона. Великий человек, двадцать лет назад он был ведущим архитектором. А что он сегодня? Счастлив, если получает – раз в год – заказ на перестройку гаража. Бездельник и пьяница, чье...

– Не будем обсуждать Генри Камерона.

– О? Он ваш друг?

– Нет, но я видел его здания.

– И вы находите их...

– Я повторяю, мы не будем обсуждать Генри Камерона.

– Очень хорошо. Вы должны понимать, что я проявляю большую... так сказать, терпимость. Я не привык беседовать со студентами в таком тоне. Как бы то ни было, я очень желаю предупредить, если возможно, назревающую трагедию – видеть, как молодой, явно способный человек сознательно калечит свою жизнь.

Декан задумался, почему, собственно, он обещал профессору математики сделать все возможное для этого парня. Просто потому, что профессор сказал: «Это великий человек» – и указал на проект Рорка.

«Великий, – подумал декан, – или опасный». Он помор-

щился – он не одобрял ни тех ни других.

Он припомнил все, что знал о прошлом Рорка. Отец Рорка был сталелитейщиком где-то в Огайо и умер очень давно. В документах парня не имелось ни единой записи о ближайших родственниках. Когда его об этом спрашивали, Рорк безразлично отвечал: «Вряд ли у меня есть какие-нибудь родственники. Может быть, и есть. Я не знаю». Он казался очень удивленным предположением, что у него должен быть к этому какой-то интерес. Он не нашел, да и не искал в кампусе ни одного друга и отказался вступить в землячество. Он сам заработал деньги на учебу в школе и на три года института. С самого детства он работал на стройках простым рабочим. Штукатурил, слесарил, был водопроводчиком, брался за любую работу, которую мог получить, перебираясь с места на место, на восток, в большие города. Декан видел его прошлым летом в Бостоне во время каникул; Рорк ловил заклепки на строящемся небоскребе, его долговязое тело в замасленном комбинезоне не напрягалось, только глаза были внимательны, в правой руке – ведро, которым он время от времени, искусно, без напряжения выставляя руку вверх и вперед, ловил горячую заклепку как раз в тот момент, когда казалось, что она ударит его в лицо.

– Обратите внимание, Рорк, – мягко промолвил декан, – вы много работали, чтобы оплатить свое образование. Вам остался всего один год. Есть о чем поразмыслить, особенно парню в вашем положении. Вспомните о практической сто-

роне профессии архитектора. Архитектор не существует сам по себе, он только маленькая часть большого социального целого. *Сотрудничество, кооперация* – вот ключевые слова современности и профессии архитектора в особенности. Вы думали о потенциальных клиентах?

– Да, – сказал Рорк.

– *Клиент*, – продолжал декан. – *Заказчик*. Думайте о нем в первую очередь. Это тот, кто будет жить в построенном вами доме. Ваша единственная задача – служить ему. Вы лишь должны стремиться придать подходящее художественное выражение желаниям заказчика. И это самое главное в нашем деле.

– Гм, я мог бы сказать, что должен стремиться построить для моего клиента самый роскошный, самый удобный, самый прекрасный дом, который только можно представить. Я мог бы сказать, что должен стараться продать ему лучшее, что имею, и, кроме того, научить его узнавать это лучшее. Я мог бы сказать это, но не скажу. Потому что я не намерен строить для того, чтобы кому-то служить или помогать. Я не намерен строить для того, чтобы иметь клиентов. Я намерен иметь клиентов для того, чтобы строить.

– Как вы предполагаете принудить их внять вашим идеям?

– Я не предполагаю никакого принуждения – ни для заказчиков, ни для самого себя. Те, кому я нужен, придут сами. Декан понял, что поставило его в тупик в поведении Рорка.

ка.

– Знаете, – сказал он, – ваши слова звучали бы гораздо убедительнее, если бы вы не говорили так, будто вам безразлично, согласен я с вами или нет.

– Это верно, – сказал Рорк. – Мне безразлично, согласны вы или нет. – Он сказал это так просто, что слова его не прозвучали оскорбительно – лишь как констатация факта, на который он сам впервые и с недоумением обратил внимание.

– Вам все равно, что думают остальные, это можно понять. Но, судя по всему, вы даже не стремитесь убедить их.

– Не стремлюсь.

– Но это... это чудовищно.

– Да? Возможно. Не знаю.

– Я доволен разговором, – медленно и нарочито громко проговорил декан. – Моя совесть спокойна. Я полагаю и согласен в этом с постановлением собрания, что профессия архитектора не для вас. Я старался помочь вам. Теперь я согласен с советом: вы не тот человек, которому нужно помогать. Вы опасны.

– Для кого? – спросил Рорк.

Но декан поднялся, показывая, что разговор окончен.

Рорк покинул кабинет. Он медленно прошел через длинные коридоры, спустился по лестнице и оказался на лужайке внизу. Он знал много людей, похожих на декана; он никогда не мог понять их. Рорк смутно осознавал, что в чем-то они ведут себя принципиально иначе, чем он сам. Впро-

чем, сам вопрос отличия давным-давно перестал его волновать. Но как при взгляде на здания он всегда стремился найти главную их тему, так и в общении с людьми он не мог избавиться от желания увидеть их главную побудительную силу – причину их поступков. Но его это не тревожило. Он никогда не умел думать о других людях; лишь иногда удивлялся, почему они такие, какие есть. Думая о декане, он тоже удивлялся. Тут, несомненно, была какая-то тайна. Некий принцип, который еще предстояло раскрыть.

Рорк остановился. Его взгляд захватили лучи солнца, замершего перед самым закатом, которые разукрасили фризы⁸ из серого известняка, бегущие вдоль кирпичной стены здания института. Он забыл о людях, о декане и принципах, которыми тот руководствовался и которые ему, Рорку, еще предстояло постичь. Он думал только о том, как чудесно смотрится камень в нестойком свете заката и что бы он сделал с этим камнем.

Он думал о большом листе бумаги и видел поднимающиеся на нем строгие стены из серого песчаника с длинными непрерывными рядами окон, раскрывающих аудитории сиянию неба. В углу листа стояла острая, угловатая подпись – *Говард Рорк*.

⁸ *Фриз* (средневеков. лат. *frisium* – кайма, складка) – в архитектурных порядках средняя горизонтальная часть антаблемента между архитравом и карнизом; в доорическом порядке членится на триглифы и метопы, в ионическом и коринфском иногда заполняется рельефами.

II

– Архитектура, друзья мои, – великое искусство, покоящееся на двух вселенских принципах: Красоты и Пользы. В более широком смысле эти принципы – часть трех вечных ценностей: Истины, Любви и Красоты. Истина – в отношении к традициям нашего искусства, Любовь – к нашим собратьям, которым мы призваны служить, Красота – ах, Красота, неотразимая богиня всех художников, – является ли она в виде очаровательной женщины или здания... Хм... Да... В заключение я хотел бы сказать вам, начинающим свой путь в архитектуре, что теперь вы – хранители священного наследия... Хм... Да... Итак, отправляйтесь в мир, вооруженные вечными цен... вооруженные мечтой и отвагой, верные высочайшим стандартам, которыми всегда славилась ваша великая школа. Желаю вам всем честно служить, но не как рабы, прикованные к прошлому, и не как парвеню, проповедующие оригинальность ради нее самой; их поза – только невежественное тщеславие. Желаю вам многих лет, деятельных и богатых, и, прежде чем уйти из этого мира, оставить свой след на песке времени! – Гай Франкон вычурно завершил свою речь, выбросив вверх в стремительном салюте правую руку, – неофициально, в том броском хвастливом духе, который Гай Франкон мог себе позволить. Огромный зал перед ним ожил и разразился аплодисментами и крика-

ми одобрения.

Море лиц, молодых, энергичных и потных, торжественно прикованных – на сорок пять минут – к сцене, на которой распинался Гай Франкон, председательствовавший на выпускной церемонии в Стентонском технологическом институте. Гай Франкон, который по этому случаю собственной персоной прибыл из Нью-Йорка; Гай Франкон – глава знаменитой фирмы «Франкон и Хейер», вице-президент Американской гильдии архитекторов, член Американской академии искусств и литературы, член Национальной комиссии по изящным искусствам, секретарь Нью-Йоркской лиги поощрения художеств, председатель Общества архитектурного просвещения США⁹. Гай Франкон, кавалер ордена Почетного легиона, награжденный правительствами Великобритании, Бельгии, Монако и Сиам; Гай Франкон – лучший выпускник Стентона, спроектировавший известнейшее здание Национального банка Фринка в Нью-Йорке, на крыше которого на высоте двадцати пяти этажей светился раздуваемый ветром факел из стекла и огромных электрических ламп «Дженерал электрик», встроенный в слегка уменьшенную

⁹ *Вице-президент Американской гильдии архитекторов... председатель Общества архитектурного просвещения США.* – В США существуют Американский институт архитекторов (American Institute of Architects), основан в 1857 г.; Американская академия искусств и точных наук (American Academy of Arts and Sciences), Национальная академия дизайна (National Academy of Design), Общество американских художников (Society of American Artists).

копию мавзолея Адриана¹⁰.

Гай Франкон спустился со сцены неторопливо, с полным осознанием важности своих движений. Он был среднего роста и не слишком грузен, но с досадной склонностью к полноте. Он знал, что никто не дал бы ему его пятидесяти одного года, на лице его не было ни морщин, ни складок; оно представляло собой приятное сочетание шаров, окружностей, арок и эллипсов, посреди которых хитрыми искорками сверкали глазки. Его одежда демонстрировала безграничное внимание к мелочам, свойственное художникам. Спускаясь по ступеням, он жалел лишь о том, что это не школа совместного обучения.

Гай Франкон считал этот зал великолепным образцом архитектуры, только сегодня здесь было душновато из-за тесноты и пренебрежения вентиляцией. Зато он мог похвастаться зелеными мраморными панелями, коринфскими колоннами литого железа, расписанными золотом и украшенными гирляндами позолоченных плодов; Гай Франкон подумал, что особенно хорошо выдержали проверку временем ананасы. «Как трогательно, – подумал он, – ведь это я двадцать лет назад пристроил это крыло и продумал этот большой холл, и вот я здесь». Зал был так набит, что с первого

¹⁰ *Мавзолей Адриана*. – Строительство грандиозного мавзолея римского императора Адриана (76–138, правил с 117 г.) началось еще при его жизни. Круглое здание имело конусообразное завершение и было увенчано статуей Адриана на квадриге. В Средние века было перестроено в крепость и получило название Замка святого ангела.

взгляда невозможно было различить, какое лицо какому телу принадлежит. Все вместе напоминало подрагивающее заливное из рук, плеч, грудных клеток и животов. Одна из голов, бледнолицая, темноволосая и прекрасная, принадлежала Питеру Китингу.

Он сидел в первом ряду, стараясь смотреть на сцену, потому что знал – сотни человек смотрят на него сейчас и будут смотреть позже. Он не оборачивался, но сознание того, что он в центре внимания, не покидало его. У него были карие, живые и умные глаза. Его рот – маленький, безупречной формы полумесяц – был мягко-благородным, теплым, словно всегда готовым расплыться в улыбке. Голова его отличалась классическим совершенством – и формы черепа, и черных волнистых локонов, обрамляющих впалые виски. Он держал голову как человек, привыкший не обращать внимания на свою красоту, но знающий, что у других подобной привычки нет. Он был Питером Китингом – звездой Стентона, президентом студенческой корпорации, капитаном лыжной команды, членом самого престижного землячества; большинством голосов он был назван самым популярным человеком в кампусе.

А ведь все собрались здесь, думал Питер Китинг, чтобы видеть, как мне будут вручать диплом; он попытался прикинуть, сколько человек вмещает зал. Все знали его блестящие оценки, и никому сегодня его рекорда не побить. Ах да, тут Шлинкер. Шлинкер был очень тяжелым соперником, но он

все-таки побил Шлинкера в этом году. Он трудился как собака, потому что очень хотел побить Шлинкера. Сегодня у него нет соперников... Он вдруг почувствовал, как у него внутри что-то упало, из горла в живот, что-то холодное и пустое, зияющая пустота, свалившаяся вниз и оставившая ощущение падения – не конкретную мысль, а неуловимый намек на вопрос, действительно ли он так великолепен, как сегодня провозглашают. Он увидел в толпе Шлинкера. Он смотрел на его желтое лицо и очки в золотой оправе, смотрел пристально, с теплотой и облегчением, с благодарностью. Было ясно, что Шлинкер не мог даже надеяться сравняться с его собственной внешностью и способностями, у него не было никаких сомнений: он всегда будет бить Шлинкера и всех Шлинкеров мира, *он никому не позволит достичь того, чего сам достичь не сможет*. Все смотрят на него – и пусть смотрят. Он еще даст им хороший повод смотреть на него не отрываясь. Он чувствовал, как все взгляды вгрызаются в него с ожиданием и нетерпением, и это действовало на него тонизирующе. «Жизнь прекрасна», – думал Питер Китинг. У него немного закружилась голова. Это было приятное чувство, оно понесло его, безвольного и беспамятного, на сцену, на всеобщее обозрение. Вот оно выплеснуло его поверх голов – стройного, подтянутого, атлетически сложенного, полностью отдавшегося поглотившему его потоку. Он уловил в этом шуме, что выпущен с отличием, что Американская гильдия архитекторов вручает ему золотую медаль и что он награжден

призом Общества архитектурного просвещения США – стипендией на четыре года обучения в парижской Школе изящных искусств¹¹.

Потом он пожимал руки, кивал, улыбался, соскребал с лица пот концом пергаментного свитка, задыхаясь в своей черной мантии и надеясь, что другие не заметят, как его мать рыдает, закрыв лицо руками. Ректор пожал ему руку, прогудев:

– Стентон будет гордиться вами, мой мальчик.

Декан тряс его руку, повторяя:

– Славное будущее... Славное будущее... Славное будущее...

Профессор Питеркин пожал ему руку и потрепал по плечу, говоря:

– ...и вы признаете это совершенно необходимым; например, когда я строил почтамт в Пибоди¹²...

Дальше Китинг не слушал – он слышал историю почтамта в Пибоди много раз. Это было единственное из кому-либо известных сооружений, возведенное профессором Питеркином до того, как он принес свою практическую деятельность в жертву обязанностям преподавателя. Блестящая работа – так было сказано о дипломном проекте Китинга – дворце

¹¹ *Школа изящных искусств в Париже* (Ecole des Beaux Arts). – Основана в 1785 г. Имеет отделение живописи, скульптуры, архитектуры и графики.

¹² *Пибоди* – город в штате Массачусетс (ранее – Денвере). Переименован в честь Джорджа Пибоди (1795–1869), торговца и филантропа.

изящных искусств. В этот момент Китинг ни за что бы не вспомнил, что это за дворец такой.

Сквозь все это в его глазах отпечатался облик Гая Франкона, пожимавшего ему руку, а в ушах переливался густой голос: «...как я сказал вам, она еще открыта, мой мальчик. Конечно, теперь у вас есть возможность продолжить обучение... Вы должны будете принять решение... Диплом Школы изящных искусств очень важен для молодого человека... Но я был бы доволен, увидев вас в нашем бюро».

Банкет выпуска двадцать второго года был долгим и торжественным. Китинг слушал речи с интересом; вокруг на все лады звучали бесконечные сентенции о «молодых людях – надежде американской архитектуры» и о «будущем, открывающем свои золотые ворота», и Питер знал, что «надежда» – это он и что «будущее» принадлежит ему; приятно было слышать подтверждение этому из стольких уважаемых уст. Он скользил взглядом по седовласым ораторам и думал о том, насколько моложе он будет, когда достигнет их положения, да и места повыше.

Потом он вдруг вспомнил о Говарде Рорке и удивился, обнаружив, что это имя, вспыхнув в его памяти, вызвало беспричинное удовольствие. Потом вспомнил: Говарда Рорка сегодня утром исключили из института. Питер молча упрекнул себя и принялся целеустремленно вызывать в себе чувство сожаления. Но скрытая радость возвращалась всякий раз, когда он думал об исключении Рорка. Это собы-

тие безоговорочно доказало, каким он был глупцом, воображая Рорка опасным соперником; одно время Рорк беспокоил его даже больше, чем Шлинкер, хотя и был двумя годами и одним курсом младше. Если он и питал какие-либо сомнения по поводу своей и их одаренности, разве сегодняшний день не расставил все по местам? Хотя, вспомнил Питер, Рорк был очень мил с ним, помогая ему всякий раз, когда он увязал в какой-нибудь проблеме... не увязал на самом деле, просто у него не хватало времени сидеть над всякой скукотищей – чертежами или чем-нибудь еще. Господи! Как Рорк умел распутывать чертежи, будто просто дергал за ниточку – и все понятно... И что с того, что умел? Что это ему дало? Теперь с ним кончено. И, убедив себя в этом, Питер Китинг с удовлетворением испытал наконец нечто вроде сострадания к Говарду Рорку.

Когда Китинга пригласили произнести речь, он уверенно поднялся с места. Он не имел права показать, что сильно испуган. Ему нечего было сказать об архитектуре, но он произносил слова, высоко подняв голову, как равный среди равных, но с некоей толикой почтительности, так, чтобы никто из присутствовавших знаменитостей не почел себя оскорбленным. Насколько он мог позднее вспомнить, он говорил: «Архитектура – великое искусство... С глазами, устремленными в будущее, и почтением к прошлому в сердцах... Из всех искусств – самое важное для народа... И, как сказал сегодня тот, кто стал для всех нас вдохновителем к творчеству,

Истина, Любовь и Красота – три вечные ценности...»

Потом, в коридоре, в шумной неразберихе прощаний, какой-то парень шептал Китингу, обняв его за плечи:

– Давай домой, быстренько там разберись, Пит, а потом махнем в Бостон своей компанией; я заеду за тобой через часок.

Тед Шлинкер подбивал его:

– Конечно, пойдем, Пит, без тебя какое веселье. И кстати, прими поздравления и все прочее. Никаких обид. Пусть побеждает сильнейший.

Китинг обнял Шлинкера за плечи. В его глазах светилась такая сердечность, будто Шлинкер был его самым дорогим другом. В этот вечер он смотрел так на всех. Китинг сказал:

– Спасибо, Тед, старина. На самом деле я чувствую себя ужасно из-за этой медали гильдии архитекторов – я думаю, ее достоин только ты, но никогда нельзя сказать, что найдет на этих маразматиков.

И теперь Китинг шел домой в теплом полумраке, думая лишь о том, как удрать от матери на ночь.

Мать, думал он, сделала для него очень много. Как сама часто повторяла, она была леди с полным средним образованием; тем не менее она была вынуждена много работать и, более того, держать в доме пансион – случай беспрецедентный в ее семье.

Его отец владел писчебумажным магазином в Стентоне. Времена изменились и прикончили бизнес, а прободная язва

прикончила Питера Китинга-старшего двадцать лет назад. Луиза Китинг осталась с домом, стоящим в конце respectable-улицы, рентой от страховки за мужа – она не забывала аккуратно обновлять ее каждый год – и с сыном. Рента была более чем скромной, но с помощью пансиона и упорного стремления к цели миссис Китинг сводила концы с концами. Летом ей помогал сын, работая клерком в отеле или позируя для рекламы шляп. Ее сын, решила однажды миссис Китинг, займет достойное место в мире, и она вцепилась в эту мысль мягко и неумолимо, словно пиявка... Странно, вспомнил Китинг, одно время я хотел стать художником. Но мать выбрала иное поле деятельности для проявления его таланта. «Архитектура, – сказала она, – вот по-настоящему respectable-профессия. Кроме того, ты встретишь самых известных людей». Он так и не понял, как и когда она подтолкнула его к этой профессии. Странно, думал Китинг, что он годами не вспоминал о своем юношеском стремлении. Странно, что теперь воспоминание причиняет ему боль. Ладно, этот вечер и предназначен для того, чтобы все вспомнить – и забыть навсегда.

Архитекторы, думал он, всегда делают блестящую карьеру. А терпели ли они когда-нибудь неудачи, взойдя на вершину? Он вдруг вспомнил Генри Камерона, который двадцать лет назад строил небоскребы, а сегодня превратился в старого пьяницу с конторой в какой-то трущобе. Китинг содрогнулся и пошел быстрее.

Он на ходу задумался, смотря ли на него люди. Он начал следить за прямоугольниками освещенных окон; когда занавеска колыхалась и голова прислонялась к стеклу, он пытался угадать, не для того ли это, чтобы взглянуть, как он проходит; если и нет, то когда-нибудь так будет, когда-нибудь они все будут смотреть.

Говард Рорк сидел на ступенях крыльца, когда Китинг подошел к дому. Он сидел, отклонившись назад, опираясь локтями о ступени, вытянув длинные ноги. Вьюнок оплел колонны крыльца, словно отгораживая дом от света фонаря, стоящего на углу.

Тусклый шар электрического фонаря в ночном весеннем воздухе казался волшебным. От его тихого света улица становилась глуше и мягче. Фонарь висел одиноко, словно прореха во тьме, окутав темнотой все, кроме нескольких веток с густой листвой, застывших на самом ее краю – легкий намек, переходящий в уверенность, что в темноте нет ничего, кроме моря листьев. На фоне безучастного стеклянного шара фонаря листья казались более живыми; его свечение поглотило цвет листьев, пообещав вернуть при дневном свете краски в несколько раз ярче. Волшебный свет фонаря словно ладошками закрывал глаза, оставляя взамен необъяснимое ощущение – не запах, не прохладу, а все вместе: ощущение весны и безграничного пространства.

Китинг остановился, различив в темноте нелепо рыжие волосы. Это был единственный человек, которого он хотел

увидеть сегодня вечером. Он обрадовался и немного испугался, застав Рорка в одиночестве.

– Поздравляю, Питер, – сказал Рорк.

– А... А, спасибо... – Китинг был удивлен, обнаружив, что испытывает большее удовольствие, чем от других поздравлений, полученных в этот день. Он несмело обрадовался поздравлению Рорка и назвал себя за это глупцом. – Кстати... Ты знаешь или... – Он добавил осторожно: – Мама сказала тебе?

– Сказала.

– Она не должна была!

– Почему?

– Слушай, Говард, ты знаешь, что я ужасно сожалею о твоём...

Рорк откинул голову назад и посмотрел на него.

– Брось, – сказал Рорк.

– Я... Есть кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить, Говард, попросить твоего совета. Не возражаешь, если я сяду?

– О чем?

Китинг сел на ступени. В присутствии Рорка он никогда не мог играть какую-либо роль, а сегодня просто не хотел. Он услышал шелест листа, падающего на землю; это был тонкий, прозрачный весенний звук.

Он осознал в этот момент, что привязался к Рорку, и в этой привязанности засели боль, изумление и беспомощность.

– Ты не будешь думать, – сказал Китинг мягко, с полной искренностью, – что это ужасно с моей стороны – спрашивать тебя о своих делах, в то время как тебя только что?..

– Я сказал, брось. Так в чем дело?

– Знаешь, – сказал Китинг с неожиданной для самого себя искренностью, – я часто думал, что ты сумасшедший. Но я знаю, что ты много знаешь о ней... об архитектуре, я имею в виду, знаешь то, чего эти глупцы никогда не знали. И я знаю, что ты любишь свое дело, как они никогда не полюбят.

– Ну?

– Ну, я не знаю, почему должен был прийти к тебе, но... Говард, я никогда раньше этого не говорил... Видишь ли, для меня твое мнение важнее мнения декана – я, возможно, последую деканскому, но просто твое мне ближе. Я не знаю почему. И я не знаю, зачем говорю это.

Рорк повернулся к нему, посмотрел и рассмеялся. Это был молодой и дружеский смех, который так редко можно было слышать от Рорка, и Китингу показалось, будто кто-то доверительно взял его за руку; он забыл, что его ждут развлечения в Бостоне.

– Валяй, – сказал Рорк, – ты же не боишься меня, так ведь? О чем ты хотел спросить?

– О моей стипендии на учебу в Париже. Я получил приз Общества архитектурного просвещения.

– Да?

– На четыре года. Но, с другой стороны, Гай Франкон

недавно предложил мне работать у него... Сегодня он сказал, что предложение все еще в силе. И я не знаю, что выбрать.

Рорк смотрел на него, его пальцы выбивали на ступеньке медленный ритм.

– Если хочешь моего совета, Питер, – сказал он наконец, – то ты уже сделал ошибку. Спрашивая меня. Спрашивая любого. Никогда никого не спрашивай. Тем более о своей работе. Разве ты сам не знаешь, чего хочешь? Как можно жить, не зная этого?

– Видишь ли, поэтому я и восхищаюсь тобой, Говард; ты всегда знаешь.

– Давай без комплиментов.

– Но я именно это имел в виду. Как получается, что ты всегда можешь принять решение сам?

– Как получается, что ты позволяешь другим решать за тебя?

– Но видишь ли, *я не уверен, Говард, я никогда в себе не уверен*. Я не знаю, действительно ли я так хорош, как обо мне говорят. Я бы не признался в этом никому, кроме тебя. Думаю, это потому, что ты всегда так уверен в себе, я...

– Питти! – раздался сзади громкий голос миссис Китинг. – Питти, милый! Что вы там делаете? – Она стояла в дверях в своем лучшем платье из бордовой тафты, счастливая и злая. – Я сижу здесь одна-одинешенька, жду тебя! Что же ты сидишь на этих грязных ступенях во фраке? Вставай немед-

ленно! Давайте в дом, мальчики. Горячий шоколад и печенье готовы.

– Но, мама, я хотел поговорить с Говардом о важном деле, – сказал Китинг, но встал.

Казалось, она не услышала его слов. Она вошла в дом. Китинг последовал за ней.

Рорк посмотрел ему вслед, пожал плечами, встал и вошел тоже.

Миссис Китинг устроилась в кресле, деликатно хрустнув накрахмаленной юбкой.

– Ну? – спросила она. – О чем вы там секретничали?

Китинг потрогал пепельницу, подобрал спичечный коробок и бросил его, затем, не обращая на мать внимания, повернулся к Рорку.

– Слушай, Говард, оставь свою позу, – сказал он, повысив голос. – Плюнуть мне на стипендию и идти работать или ухватиться за Школу изящных искусств, чтобы поразить наших провинциалов, а Франкон пусть ждет? Как ты думаешь?

Но что-то ушло. Неуловимо изменилось. Момент был упущен.

– Теперь, Питти, позволь мне... – начала миссис Китинг.

– Ах, мама, подожди минуту!.. Говард, я должен все тщательно взвесить. Не каждый может получить такую стипендию. Если тебя так оценивают, значит, ты того заслуживаешь. Курс в парижской Школе – ты ведь знаешь, как это важно?

– Не знаю, – сказал Рорк.

– О черт, я знаю твои безумные идеи, но я говорю практически, с точки зрения человека в *моем* положении. Забудем на время об идеалах, речь идет о...

– Ты не хочешь моего совета, – сказал Рорк.

– Еще как хочу! Я же спрашиваю тебя!

Но Китинг никогда не мог быть самим собой при свидетелях, любых свидетелях. Что-то ушло. Он не знал, что именно, но ему показалось, что Рорк знает. Глаза Говарда заставляли его чувствовать себя неудобно, и это его злило.

– Я хочу *заниматься* архитектурой, – набросился на Рорка Китинг, – а не говорить о ней. Старая Школа дает престиж. Ставит выше рядовых экс-водопроводчиков, которые думают, что могут строить. А с другой стороны – место у Франкона, причем предложенное лично Гаем Франконом!

Рорк отвернулся.

– Многие ли сравниваются со мной? – без оглядки продолжал Китинг. – Через год они будут хвастать, что работают на Смита или Джонса, если вообще найдут работу. В то время как я буду у Франкона и Хейера!

– Ты совершенно прав, Питер, – сказала миссис Китинг, поднимаясь, – что в подобном вопросе не хочешь советоваться со своей матерью. Это слишком важно. Я оставлю вас с мистером Рорком – решайте вдвоем.

Он посмотрел на мать. Он не хотел слышать ее мнение по этому поводу; он знал, что единственная возможность ре-

шить самому – это принять решение до того, как она выскажется. Она остановилась, глядя на него, готовая повернуться и покинуть комнату; он знал, что это не поза, – она уйдет, если он пожелает. Он хотел, чтобы она ушла, хотел отчаянно и сказал:

– Это несправедливо, мама, как ты можешь так говорить? Конечно, я хочу знать твое мнение. Как... Что ты думаешь?

Она проигнорировала явное раздражение в его голосе и улыбнулась:

– Питти, я никогда ничего не думаю. Только тебе решать, и всегда было так.

– Ладно... – нерешительно начал он, искоса наблюдая за ней. – Если я отправлюсь в Париж...

– Прекрасно, – сказала миссис Китинг. – Поезжай в Париж. Это отличное место. За целый океан от твоего дома. Конечно, если ты уедешь, мистер Франкон возьмет кого-то другого. Люди будут говорить об этом. Все знают, что мистер Франкон каждый год выбирает лучшего парня из Стентона для своей фирмы. Хотела бы я знать, что скажут люди, если кто-то другой получит это место? Но я полагаю, что это не важно.

– *Что... Что* скажут люди?

– Ничего особенного, я полагаю, только то, что другой был лучшим в вашем выпуске. Я полагаю, он возьмет Шлинкера.

– Нет! – Он задохнулся в ярости. – Только не Шлинкера!

– Да, – ласково сказала она. – Шлинкера.

– Но...

– Но почему тебя должно беспокоить, что скажут люди? Ведь главное – угодить самому себе.

– И ты думаешь, что Франкон...

– Почему я должна думать о мистере Франконе? Это имя для меня ничего не значит.

– Мама, ты хочешь, чтобы я работал у Франкона?

– Я ничего не хочу, Питти. Ты – хозяин. Тебе решать.

У Китинга мелькнула мысль, действительно ли он любит свою мать. Но она была его матерью, а по всеобщему убеждению, этот факт автоматически означал, что он ее любит; и все чувства, которые он к ней испытывал, он привык считать любовью. Он не знал, почему обязан считаться с ее мнением. Она была его матерью, и предполагалось, что это заменяет все «почему».

– Да, конечно, мама... Но... Да, я знаю, но... Говард? – Это была мольба о помощи.

Рорк полулежал в углу на софе, развалившись, как котенок. Это часто изумляло Китинга – он видел Рорка то движущимся с беззвучной собранностью и точностью кота, то по-кошачьи расслабленным, обмякшим, как будто в его теле не было ни единой кости. Рорк взглянул на него и сказал:

– Питер, ты знаешь мое отношение к каждому из этих вариантов. Выбирай меньшее из зол. Чему ты научишься в Школе изящных искусств? Только строить ренессансные палатки и опереточные декорации. Они убьют все, на что ты

способен сам. Иногда, когда тебе разрешают, у тебя получается очень неплохо. Если ты действительно хочешь учиться – иди работать. Франкон – убудок и дурак, но ты будешь строить. Это подготовит тебя к самостоятельной работе намного быстрее.

– Даже мистер Рорк иногда говорит разумные вещи, – сказала миссис Китинг, – хоть и выражается как водитель грузовика.

– Ты действительно думаешь, что у меня получается неплохо? – Китинг смотрел на него так, будто в его глазах застыло отражение этой фразы, а все прочее значения не имело.

– Время от времени, – сказал Рорк, – не часто.

– Теперь, когда все решено... – начала миссис Китинг.

– Я... Мне нужно это обдумать, мама.

– Теперь, когда все решено, как насчет горячего шоколада? Я подам его сию минуту. – Она улыбнулась сыну невинной улыбкой, говорящей о ее благодарности и послушании, и прошелестела прочь из комнаты.

Китинг нервно зашагал по комнате, закурил, отрывисто выплевывая клубы дыма, а потом посмотрел на Рорка:

– Что ты теперь собираешься делать, Говард?

– Я?

– Я понимаю, очень некрасиво, что я все о себе да о себе. Мама хочет как лучше, но она сводит меня с ума... Ладно, к черту... Так что ты намерен делать?

– Поеду в Нью-Йорк.

– О, замечательно. Искать работу?

– Искать работу.

– В... в архитектуре?

– В архитектуре, Питер.

– Это прекрасно. Я рад. Есть какие-нибудь определенные планы?

– Я собираюсь работать у Генри Камерона.

– О нет, Говард!

Рорк молча и не спеша улыбнулся. Уголки его рта заострились:

– Да.

– Но он ничтожество, он больше никто! О, я знаю, у него все еще есть имя, но он вышел в тираж! Он никогда не получает крупных заказов, несколько лет не имел вообще никаких! Говорят, его контора просто дыра. Какое будущее ждет тебя у него? Чему ты научишься?

– Не многому. Только строить.

– Ради Бога, нельзя же так жить, умышленно губить себя! Мне казалось... Ну да, мне казалось, что ты сегодня кое-что понял!

– Понял.

– Слушай, Говард, если это потому, что тебе представляется, что теперь больше никто тебя не возьмет, никто лучше Камерона, то я помогу тебе, за чем же дело стало? Я буду работать у старика Франкона, завяжу знакомства и...

– Спасибо, Питер, но в этом нет необходимости. Это решено.

– Что он сказал?

– Кто?

– Камерон.

– Я с ним еще не встречался.

Снаружи раздался гудок автомобиля. Китинг опомнился, побежал переодеваться, столкнулся в дверях с матерью, сбив чашку с нагруженного подноса.

– Питти!

– Ничего, мама! – Он схватил ее за локти. – Я спешу, милая. Маленькая вечеринка с ребятами. Нет-нет, не говори ничего, я не задержусь, и – слушай! – мы отпразднуем мое поступление к Франкону и Хейеру!

Он порывисто, с избытком веселья, время от времени делавшим его совершенно неотразимым, поцеловал ее и, вылетев из комнаты, побежал наверх. Миссис Китинг с упреком и удовольствием взволнованно покачала головой.

В своей комнате, разбрасывая одежду во всех направлениях, Китинг вдруг подумал о телеграмме, которую он отправит в Нью-Йорк. Он весь день не вспоминал об этой тревожной теме, но мысль о телеграмме пришла к нему с ощущением того, что это надо сделать срочно; он хотел отправить эту телеграмму сейчас, немедленно. Он неразборчиво нацарапал на клочке бумаги:

«Кэти любимая еду Нью-Йорк работа Франкона люблю

всегда Питер».

Этой ночью Китинг мчался по направлению к Бостону, зажатый между двумя парнями, ветер и дорога со свистом проносились мимо. И он думал, что мир сейчас открывается для него подобно темноте, разбегающейся перед качающимися вверх-вниз лучами фар. Он свободен. Он готов. В ближайшие годы – очень скоро, ведь в быстром беге автомобиля времени не существовало – его имя прозвучит, как сигнал горна, вырывая людей из сна. Он готов творить великие вещи, изумительные вещи, вещи, непревзойденные в... в... о черт... в архитектуре.

III

Питер Китинг рассматривал улицы Нью-Йорка. Прохожие, как он заметил, были чрезвычайно хорошо одеты.

На секунду он остановился перед домом на Пятой авеню, где его ожидал первый день службы в фирме «Франкон и Хейер». Он посмотрел на спешащих мимо прохожих. «Чертовски шикарны», – подумал он и с сожалением скользнул взглядом по собственному наряду. Еще многому предстояло выучиться в Нью-Йорке.

Когда тянуть время стало более невозможно, он повернулся к входу, являвшему собой миниатюрный дорический портик, каждый дюйм которого в уменьшенном размере точно воспроизводил пропорции, канонизированные творцами, носившими развевающиеся греческие туники. Меж мраморного совершенства колонн сверкала армированным стеклом, отражая блеск пронесившихся мимо автомобилей, вращающаяся дверь. Китинг вошел в эту дверь и через глянцевомраморный вестибюль прошел к лифту, сиявшему позолотой и красным лаком. Миновав тридцать этажей, лифт доставил его к дверям красного дерева, на которых он увидел изящную бронзовую табличку с не менее изящными буквами: «Франкон и Хейер, архитекторы».

Приемная бюро Франкона и Хейера, архитекторов, походила на уютную и прохладную бальную залу в особняке

колониального стиля. Серебристо-белые стены опоясывали плоские пилястры с каннелюрами. Пилястры увенчивались ионическими завитками и поддерживали небольшие фронтоны. В центре каждого фронтона имелась вертикальная ниша, в которой прямо из стены вырастал горельеф греческой амфоры. Стенные панели были украшены офортами с изображениями греческих храмов, небольших, а потому малоизвестных, но при этом демонстрировавших безошибочный набор колонн, портиков, трещин в камне.

Стоило Китингу переступить порог, как у него возникло совершенно неуместное ощущение, будто он стоит на ленте конвейера. Сначала лента принесла его к секретарше, сидевшей возле коммутатора за белой балюстрадой флорентийского балкона. Далее он был перемещен к порогу громадной чертежной, где увидел череду длинных плоских столов, целый лес толстых гнутых проводов, свисавших с потолка и оканчивавшихся лампами в зеленых абажурах, гигантские папки с синьками, высоченные желтые стеллажи, груды бумаг, образцы кирпичей, баночки с клеем и календари, выпущенные разными строительными компаниями и изображающие преимущественно полуобнаженных женщин. Старший чертежник тут же набросился на Китинга, даже толком не взглянув на него. Чувствовалось, что ему здесь все осточертело, но при этом работа настолько захватывала его, что он был прямо-таки переполнен энергией. Ткнув пальцем в направлении раздевалки, он повел подбородком, указуя на

дверцу одного из шкафчиков. Потом, пока Китинг неуверенными движениями облачался в жемчужно-серый халат, старший чертежник стоял, покачиваясь с пятки на носок. Такие халаты здесь, по требованию Франкона, носили все. Далее лента конвейера остановилась у стола в углу чертежной, где перед Китингом оказалась стопка эскизов, которые требовалось перечертить в развернутом виде. Тощая спина старшего чертежника уплыла вдаль, причем по одному ее виду можно было безошибочно определить, что ее обладатель начисто забыл о существовании Китинга.

Китинг немедленно склонился над своим заданием, сосредоточив взор и напрягши мышцы шеи. Кроме перламутрового отлива лежащей перед ним бумаги, он ничего не видел и только удивлялся четким линиям, выводимым его рукой, ведь он нисколько не сомневался, что она, эта рука, водя по бумаге, дрожит самым предательским образом. Он срисовывал линии, не ведая, куда они ведут и с какой целью. Он знал лишь одно: перед ним чье-то гениальное творение, и он, Китинг, не вправе ни судить о нем, ни тешить себя надеждой когда-либо сравняться с его автором. Сейчас ему было непонятно, с какой стати он вообще возомнил себя потенциальным архитектором.

Лишь много позже он заметил за соседним столом морщины на сером халате, из-под которого торчали чьи-то лопатки. Он беглым взглядом окинул чертежную – поначалу с осторожностью, затем с любопытством, с удовольствием и, на-

конец, с презрением. Достигнув этой последней стадии, Питер Китинг вновь стал самим собой и вновь возлюбил человечество. Он подмечал то щеки землистого цвета, то смешной нос. То бородавку на срезанном подбородке, то брюхо, сплющенное о край стола. Эти картины нравились ему чрезвычайно. Да ему ли не справиться с тем, с чем справляются вот эти? Он улыбнулся. Нет, без собратьев-человеков Питеру Китингу не прожить.

Вновь взглянув на лежащие перед ним эскизы, он моментально заметил вопиющие огрехи в этом шедевре. Эскиз изображал один этаж частной резиденции, и Питер обратил внимание на кривые коридоры, бессмысленно съедающие громадные объемы, вытянутые прямоугольные колбасы комнат, обреченных на вечный полумрак. «Господи, – подумал он, – да меня за такое вышибли бы еще в первом семестре!» После чего работа пошла быстро, споро, уверенно. Он был счастлив.

До обеденного перерыва Китинг уже завел дружбу в чертежной – нет, не с конкретными людьми; он, так сказать, подготовил почву для произрастания грядущих побегов дружбы. Он постоянно улыбался соседям и понимающе подмигивал без особых на то причин. Отходя к фонтанчику с питьевой водой, он всякий раз не забывал окинуть тех, мимо кого проходил, ласковым и веселым взором сияющих глаз, которые, казалось, выхватывают каждого по очереди из чертежной, из вселенной, и непременно в качестве наиболее значи-

тельного представителя человечества – и ближайшего друга Питера Китинга. «Вот идет он, – словно шелестело ему вслед, – умница и чертовски хороший парень».

Китинг заметил, что высокий юноша за соседним столом работает над фасадом административного здания. С видом дружеского уважения Питер склонился над плечом соседа и посмотрел на переплетение лавровых гирлянд над колоннами с каннелюрами на высоте третьего этажа.

– А что, неплохо старик придумал, – с восторгом произнес Китинг.

– Кто-кто? – спросил юноша.

– Да Франкон же, – сказал Китинг.

– Черта с два Франкон, – безмятежно процедил юноша. – Он за восемь лет и собачьей конуры не спроектировал. – Он махнул большим пальцем через плечо, на стеклянную дверь за их спинами. – Это он придумал.

– Кто? – оборачиваясь, спросил Китинг.

– Он, – повторил юноша. – Штенгель. Он все это делает.

За стеклянной дверью Китинг увидел возвышающиеся над кульманом тощие плечи, напряженно склонившуюся треугольную головку и два круглых пятна света в оправе очков.

Ближе к вечеру словно призрак просочился через закрытую дверь, и по шуршанию шепотков вокруг Китинг узнал, что Гай Франкон явился и проследовал в свой кабинет на верхнем этаже. Спустя полчаса открылась стеклянная дверь

и вышел Штенгель, держа двумя пальцами большой лист ватмана.

– Эй, вы, – сказал он, наведя очки на лицо Китинга. – Вы готовите эскизы для вот этого? – Он махнул ватманом. – Снесите-ка это боссу на одобрение. Выслушайте, что он скажет, и постарайтесь при этом сделать умный вид. Впрочем, ни то ни другое ни малейшего значения не имеет.

Штенгель был невысок, и руки его, казалось, доставали до щиколоток. Они болтались в широких рукавах, как толстые веревки, заканчиваясь крупными, сноровистыми ладонями. Взгляд Китинга застыл, потемнел. Десятую долю секунды он пристально смотрел в бесстрастные кругляшки очков. Затем улыбнулся и приятным голосом произнес:

– Да, сэръ.

Он понес ватман, держа его кончиками всех десяти пальцев, вверх по лестнице, устланной пушистым малиновым ковром, в кабинет Гая Франкона.

На листе был акварелью изображен в перспективе вид серого гранитного особняка с тремя рядами слуховых окон, пятью балконами, четырьмя эркерами, двенадцатью колоннами, одним флагштоком и двумя львами у входа. В углу аккуратнейшими печатными буквами было написано: «Резиденция мистера и миссис Джеймс С. Уоттлз. Франкон и Хейер, архитекторы».

Китинг тихо присвистнул. Джеймс С. Уоттлз – миллионер, фабрикант лосьонов для бритья.

Кабинет Гая Франкона блистал полировкой. «Нет, – поправил себя Китинг. – Не полировкой, а лаком. А еще точнее, здесь каждый предмет полит толстым слоем расплавленных золоченых зеркал». Он увидел, как порхают, подобно рою бабочек, осколки его собственного отражения, следуя за ним, присаживаясь на чиппендейлские бюро¹³, на кресла в стиле эпохи Стюартов¹⁴, на каминную полку под Людовика Пятнадцатого¹⁵. Питер успел заметить в углу подлинную древнеримскую статую, подкрашенные сепией фотографии Парфенона, Реймского собора¹⁶, Версаля¹⁷ и Национального банка Фринка с его негаснущим факелом.

Он увидел, как от боковой поверхности тумбы массивно-

¹³ ...*чиппендейлские бюро*... – Чиппендейл – стиль мебели XVIII в., рококо с обилием тонкой резьбы и богатой, нередко вычурной инкрустацией (по имени английского краснодеревщика Томаса Чиппендейла, 1718–1779).

¹⁴ ...*кресла в стиле эпохи Стюартов*... – Стюарты – династия шотландских и английских королей (1603–1714), сменившая на английском престоле династию Тюдоров. Якобитский стиль мебели, получивший распространение при правлении Якова I (1603–1625), отличается прямыми линиями и богатой резьбой; особенно характерны кресла с высокими спинками и жесткими сиденьями и подлокотниками.

¹⁵ ...*каминная полка под Людовика Пятнадцатого*... – Имеется в виду изощренно-вычурный стиль мебели, внешней и внутренней отделки зданий, господствовавший во Франции в царствование короля Людовика XV (1715–1774).

¹⁶ *Реймский собор* – архитектурный памятник зрелой французской готики в городе Реймсе (1211–1311).

¹⁷ *Версаль* – пригород Парижа, в 1682–1789 гг. – резиденция французских королей. Крупнейший дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма XVII–XVIII вв.

го стола красного дерева к нему приближаются его собственные ноги. За столом восседал Гай Франкон. Лицо у Франкона было желтое, щеки отвисли. Он посмотрел на Китинга так, словно впервые его видел, но тут же вспомнил и широко улыбнулся:

– Так-так-так, Киттридж, мальчик мой, ты уже здесь – устроился, освоился! Очень рад тебя видеть. Присаживайся, юноша, присаживайся. Что там у тебя? Спешить нам некуда, решительно некуда. Садись. Как тебе здесь нравится?

– Боюсь, сэр, что я слишком счастлив, – сказал Китинг с выражением откровенной мальчишеской беспомощности. – Мне казалось, что я сразу возьму быка за рога на своем первом рабочем месте, но начинать здесь... наверное, это немного выбило меня из колеи... Но я с этим справлюсь, сэр, – пообещал он.

– Конечно, – сказал Гай Франкон. – На молодого человека наше бюро вполне может произвести очень сильное впечатление. Но не слишком. Не переживай. Я уверен, у тебя дела пойдут хорошо.

– Я приложу все усилия, сэр.

– Разумеется, приложишь. Что это они мне прислали? – Он протянул руку к рисунку, но его обессилевшие пальцы закончили движение на лбу. – Какая обуза эта головная боль... Нет-нет, ничего серьезного... – Он улыбнулся, увидев, как Китинг мгновенно придал лицу выражение озабоченности. –

Просто немного mal de tête¹⁸. Так много работы!

– Могу ли я что-нибудь принести вам, сэр?

– Нет-нет, благодарю. Принести ничего не надо. А вот если бы ты мог кое-что забрать у меня... – Он подмигнул. – Шампанское. Entre nous¹⁹, вчера нас потчевали очень дрянным шампанским. Я вообще не слишком люблю шампанское. Да будет тебе известно, Киттридж, разбираться в винах чрезвычайно важно. Например, угощаешь клиента ужином – и непременно надо знать, что именно заказывать. А теперь я выдам тебе одну профессиональную тайну. Возьмем, к примеру, перепелов. Так вот, большинство людей закажут к ним бургундское. А что надо заказывать? Прикажи подать «Кло Вуажо» урожая девятьсот четвертого года. Понял? Это придаст особый оттенок. Вполне корректно и к тому же оригинально. А нужно всегда быть оригинальным... Кстати, кто тебя послал?

– Мистер Штенгель, сэр.

– А-а, Штенгель. – Интонация, с которой Франкон произнес эту фамилию, отчетливо впечаталась в сознание Киттинга; это надо запомнить, чтобы использовать при удобном случае. – Слишком мы, понимаете ли, горды, чтобы самим принести свои поделки... Имей в виду, он великий проектировщик, лучший в Нью-Йорке. Просто в последнее время слишком много о себе возомнил. Думает, что он единствен-

¹⁸ Голова болит (*франц.*).

¹⁹ Между нами (*франц.*).

ный во всем бюро по-настоящему работает, и все только потому, что я даю ему идеи и позволяю их за меня разрабатывать. И еще потому, что он весь день корпит за доской. Мальчик мой, когда ты поработаешь подольше, то поймешь, что настоящая работа в бюро делается вне его стен. Возьмем, к примеру, вчерашний вечер. Банкет, устроенный «Клэрион», ассоциацией по торговле недвижимостью. Две сотни гостей, ужин с шампанским – ох уж это шампанское! – Он брезгливо сморщил нос, иронизируя над самим собой. – Несколько слов, сказанных в неформальной обстановке в небольшом спиче после ужина. Понимаешь, никакой лобовой атаки, никаких вульгарных «налетайте-покупайте». Всего лишь несколько хорошо подобранных соображений об ответственности специалистов по недвижимости перед обществом, о важности подбора таких архитекторов, которые были бы компетентны, уважаемы, имели прочную репутацию... Несколько, понимаешь, броских формулировок, чтобы хорошенько в мозгах отпечатались.

– Да, сэр, что-то вроде: «Выбирай строителя для своего дома так же внимательно, как выбираешь жену, которая будет в нем жить».

– Неплохо, Киттридж, совсем неплохо. Не против, если я это запишу?

– Моя фамилия Киттинг, сэр, – твердо сказал Киттинг. – Я буду только рад, если вы воспользуетесь этой идеей. И счастлив, что она вам понравилась.

– Ну конечно же, Китинг! Разумеется, Китинг, – сказал Франкон с обезоруживающей улыбкой. – Видит Бог, со столькими людьми имеешь дело... Так как ты сказал? «Выбирай строителя»... Очень хорошо сказано.

Он попросил Китинга повторить всю фразу и записал ее в блокнот, достав один из разложенных перед ним шеренгой новых разноцветных карандашей, профессионально отточенных, готовых к употреблению и почти никогда не касавшихся ватмана.

Затем он отложил блокнот, вздохнул, пригладил волнистую шевелюру и устало сказал:

– Ну ладно. Мне, пожалуй, придется взглянуть на эту штуку.

Китинг уважительно протянул рисунок. Франкон отклонился назад, держа ватман на расстоянии вытянутой руки, и стал внимательно его рассматривать. Он прикрыл левый глаз, потом правый, потом отвел лист еще на дюйм.

Китингу почему-то показалось, что Франкон сейчас перевернет рисунок вверх ногами. Но тот просто держал его, и тут Китинг понял, что Франкон давно уже толком не смотрит на рисунок, а лишь делает вид, ради него, Китинга. И в этот момент Китингу сделалось легко-легко, и он четко и ясно увидел дорогу к своему счастливому будущему.

– М-да... – говорил между тем Франкон, потирая подбородок кончиками мягких пальцев. – М-да... – Он посмотрел на Китинга: – Неплохо. Совсем неплохо... Да... может, чу-

точку, понимаешь, изысканности не хватает, а вообще... нарисовано аккуратно... Ты как считаешь, Китинг?

Китинг подумал, что четыре окна упираются прямо в массивные гранитные колонны. Но, взглянув на пальцы Франкона, поигрывающие темно-лиловым галстуком, решил от комментариев воздержаться. Вместо этого он сказал:

– Если позволите высказать предложение, сэр, мне кажется, что картуши²⁰ между четвертым и пятым этажами скромноваты для столь импозантного здания. По-моему, здесь был бы хорош фриз с орнаментом.

– Вот, точно. Я как раз собирался сказать то же самое. Фриз с орнаментом... Только... слушай, тогда ведь придется сменить расположение окон и уменьшить их, так?

– Да, – сказал Китинг, придавая тону некоторую почтительность, которую он часто использовал в спорах с сокурсниками. – Но окна не так важны по сравнению с благородством фасада.

– Вот именно. С благородством. Прежде всего мы должны давать нашим клиентам благородство. Да, конечно же, фриз с орнаментом... Только... Слушай, я ведь уже одобрил предварительные эскизы, а Штенгель все тут так красиво разри-

²⁰ *Картуши* (франц. cartouche от ит. cartoccio – сверток) – украшающая скульптурная композиция в виде щита или стилизованного изображения свитка рукописи, не до конца развернутого, окруженного орнаментом с изображением герба, маски, монограммы и т. п. С XV в. – один из наиболее распространенных декоративных мотивов в европейской архитектуре. Картуши обычно помещались над парадным входом в здание.

совал...

– Мистер Штенгель будет только рад внести те изменения, которые порекомендуете вы.

Франкон секунду смотрел Китингу прямо в глаза. Затем ресницы его опустились, и он смахнул с рукава пылинку.

– Разумеется, разумеется, – как-то неопределенно сказал он. – Но... ты считаешь, что фриз действительно так важен?

– Я считаю, – медленно проговорил Китинг, – что куда важнее внести те изменения, которые вы считаете нужными, чем безоговорочно одобрять каждый эскиз лишь потому, что его аккуратно выполнил мистер Штенгель.

Поскольку Франкон ничего не сказал, а лишь посмотрел на него и поскольку взгляд его был пристальным, а пальцы замерли, Китинг понял, что пошел на невероятный риск и... победил. Он испугался своего смелого шага, но уже тогда, когда убедился в победе.

Они молча посмотрели друг на друга через стол, и оба увидели, что способны прекрасно понимать друг друга.

– У нас будет фриз с орнаментом, – спокойно и весомо сказал Франкон. – Оставь ватман здесь. Передай Штенгелю, что я хочу его видеть.

Китинг повернулся, собираясь выйти. Франкон остановил его. Голос его был весел и дружелюбен.

– Да, кстати, Китинг, позволь один совет. Строго между нами, ты только не обижайся, но к серому халату лучше подойдет бордовый галстук, а не синий. Как по-твоему?

– Да, сэр, – непринужденно ответил Китинг. – Благодарю вас. Завтра же увидите на мне бордовый галстук.

Он вышел и тихо прикрыл дверь.

На обратном пути, проходя через вестибюль, Китинг увидел respectable седовласого джентльмена. Тот придер- живал дверь, пропуская впереди себя даму. Джентльмен был без шляпы и явно работал здесь. На даме было норковое ман- то, и она явно относилась к числу клиентов.

Джентльмен не кланялся до земли, не расстилал ковер под ее ногами, не махал над ее головой опахалом. Китингу про- сто показалось, что джентльмен все это предельствует.

Здание Национального банка Фринка заметно возвыша- лось над Нижним Манхэттеном²¹, и его длинная тень двига- лась по мере перемещения солнца, подобно громадной часо- вой стрелке, поверх закопченных доходных домов, от «Ак- вариума» до Манхэттенского моста²². Когда солнце скрыва-

²¹ ...над Нижним Манхэттеном... – Манхэттен (Манхаттан) – центральный административный район Нью-Йорка, расположенный на острове Манхэттен (35 кв. км). Нижний Манхэттен – южная часть острова. Остров Манхэттен, откры- тый в 1524 г. флорентийским мореплавателем Джованни Верразано, в 1626 г. куплен голландцами у индейцев за товары и безделушки на сумму 24 доллара. Здесь в том же году был основан город, названный первоначально Новый Ам- стердам. В 1674 г. отошел к англичанам и был переименован ими в Нью-Йорк.

²² ...от «Аквариума» до Манхэттенского моста. – Здание форта Кэстл Клинтон (1807–1811, архитектор Дж. Макомб) никогда не служило военным целям: с 1824 г. – место развлечений и театральных представлений. С 1855 по 1890 г. служило пересыльным пунктом для иммигрантов. В 1896 г. перестроено. С 1902 по 1941 г. в здании, названном «Аквариум», располагалось Нью-Йоркское зоо- логическое общество. Манхэттенский мост (построен в 1901–1911 гг.) соединя-

лось, ему на смену вспыхивал факел в мавзолее Адриана, яркими красными пятнами отражаясь в окнах домов на многие мили вокруг. По банку Фринка можно было изучать всю историю римского искусства, представленную со вкусом подобранными образцами. Долгое время дом этот считался лучшим зданием Нью-Йорка, поскольку никакое другое строение не могло похвастать таким элементом классической архитектуры, которое не было бы представлено в облике Национального банка. На всеобщее обозрение было выставлено столько колонн, фронтонов²³, фриз, треножников, атлантов, ваз и волют²⁴, что казалось, будто дом не сложен из белого мрамора, а испечен из бисквитного теста и облеплен кремом руками искусных кондитеров. Однако дом был выстроен из настоящего белого мрамора. Никто не знал этого, кроме владельцев, которые за мрамор заплатили. Сейчас дом стоял весь в пятнах и потеках и приобрел мерзкий цвет – не коричневый, не зеленый, а как бы вобравший в себя самые неприятные оттенки того и другого. Это был цвет гнили и плесени, цвет дыма, выхлопных газов, кислот, разьевших нежный камень, более уместный в чистом воздухе при-

ет Манхэттен с другим районом Нью-Йорка – Бруклином.

²³ *Фронтон* (лат. *frons* – передняя сторона) – верхняя часть, торец фасадной стены здания, образуемый двумя скатами кровли – обычно в форме треугольника. В классической архитектуре – почти неизменное завершение фасадов зданий, портиков, порталов и т. п.

²⁴ *Волюты* (ит. *voluta* – завиток) – архитектурная декоративная деталь в форме спиралевидного завитка с «глазком» в центре.

городов. При всем том здание Национального банка Фринка пользовалось большим успехом. Этот успех был настолько велик, что Гай Франкон после этого не спроектировал ни одного строения, ибо слава создателя здания Фринка избавила его от обременительных занятий подобного рода.

В трех кварталах к востоку стояло здание Дэйна. Оно было на несколько этажей ниже и совершенно непрестижно. Линии его были скупы и просты. Они не скрывали, а даже подчеркивали гармонию стального каркаса – так в красивом теле видна соразмерность костяка. Никаких других украшений не предлагалось. Ничего, кроме идеально выверенных углов, плоскостей, длинных гирлянд окон, сбегавших с крыши на мостовую подобно потокам льда. Жители Нью-Йорка нечасто обращали взоры на здание Дэйна. Лишь изредка случайный гость из других мест неожиданно набредал на него в лунном сиянии, останавливался и удивлялся, из какого сна явилось это дивное творение. Но такие гости были крайне редки. Обитатели здания Дэйна говорили, что не променяют его ни на какое другое. Им нравилось обилие света и воздуха, четкая логичность планировки холлов и кабинетов. Но и обитателей было немного – ни один уважающий себя бизнесмен не желал размещать свою фирму в доме, «похожем на какой-то склад».

Архитектором здания Дэйна был Генри Камерон.

В восьмидесятые годы прошлого века нью-йоркские архитекторы ожесточенно бились за право занять второе место

в своей профессии. На первое никто даже не претендовал: на первом месте был Генри Камерон. В те годы заполучить Генри Камерона было очень нелегко. В очередь к нему записывались на два года вперед. Он лично проектировал каждое здание, выходящее из его мастерской. Он сам выбирал, что строить. Когда он строил, клиент помалкивал. От всех он требовал только одного – неукоснительного послушания, хотя сам в жизни никого не слушался. Сквозь годы своей славы он промчался как снаряд, выпущенный в неведомую цель. Его называли ненормальным. Но при этом брали все, что он давал, независимо от того, понимали что-нибудь или нет. Ведь дома созидал «сам Генри Камерон».

Поначалу его здания лишь незначительно отличались от прочих, не настолько, чтобы кого-то отпугнуть. Изредка он проводил эксперименты, удивлявшие всех, но от него этого ждали, и с Генри Камероном никто не спорил. С каждым новым зданием в архитекторе что-то вызревало, наливалось, оформлялось, накапливая критическую массу для взрыва. Взрыв произошел с появлением небоскреба. Когда дома устремились ввысь не громоздкими каменными этажами, а невесомыми стальными стрелами, Генри Камерон одним из первых понял это новое чудо и начал придавать ему форму. Одним из первых и немногих он осознал истину, что высокий дом должен и выглядеть высоким. Когда архитекторы, проклиная все на свете, изо всех сил старались, чтобы двадцатипятиэтажный дом выглядел как старинный кир-

пичный особняк, когда использовали любую из имеющихся горизонтальных конструкций, лишь бы дом казался пониже, поближе к традиции, лишь бы замаскировать позорный стальной каркас, выставить свое творение маленьким, привычным, старинным, Генри Камерон возводил небоскребы прямыми вертикальными линиями, щеголявшими сталью и высотой. Пока архитекторы вырисовывали фризy и фронтоны, Генри Камерон решил, что небоскребу не пристало копировать Древнюю Грецию. Генри Камерон решил, что ни одно здание не должно быть похоже на другое.

Тогда ему, крепкому неопрятному коротышке, было тридцать девять лет. Он работал как проклятый, недосыпал, недоедал, пил редко, но до озверения, называл своих клиентов непечатными словами, смеялся над ненавидевшими его и сознательно раздувал эту ненависть, вел себя как помещик-феодал, как портовый грузчик и жил в страшном напряжении, которое передавалось всем оказавшимся с ним в одной комнате. Этот огонь ни он, ни другие не могли переносить слишком долго. Так было в 1892 году.

А в 1893 году в Чикаго прошла Всеамериканская выставка.

На берегах озера Мичиган вырос Рим двухтысячелетней давности, Рим, дополненный кусками Франции, Испании, Афин и всех последующих архитектурных стилей. Это был город мечты, состоявший из колонн, триумфальных арок, голубых лагун, хрустальных фонтанов и хрустящей куку-

рузы. Архитекторы состязались, кто искуснее украдет, кто воспользуется самым древним источником или наибольшим числом источников одновременно. Здесь перед глазами молодой страны развернулась картина всех преступлений из области архитектуры, когда-либо совершенных в более древних странах. Это был белый город, белый, как чумной балахон, и появившаяся здесь зараза распространялась со скоростью чумы.

Люди приходили, смотрели, дивились – и увозили с собой во все города Америки впечатления от увиденного. Из этих семян вырос буйный сорняк – почты с черепичными крышами и дорическими портиками, кирпичные особняки с чугунными фронтонами, высотки из двадцати Парфенонов, поставленных друг на дружку. Сорняки разрастались и душили все остальное.

Генри Камерон отказался работать на Всеамериканскую выставку, он ругал ее всеми непечатными словами, допустимыми, однако, к воспроизведению, – но только не в обществе дам. Его слова незамедлительно воспроизводились наряду с рассказами о том, как он бросил чернильницу в лицо известнейшему банкиру, когда тот попросил его спроектировать железнодорожный вокзал в форме храма Артемиды Эфесской. Банкир больше к Камерону не обращался. И не он один.

Едва лишь замаячила вдали цель, к которой Камерон шел долгие и трудные годы, едва лишь истина, которую он искал,

стала приобретать осязаемые формы, как перед ним опустился последний шлагбаум. В молодой стране, наблюдавшей за его безумной карьерой, удивлявшейся и восхищавшейся, начал было прививаться вкус к величию его творений. Но в стране, отброшенной на два тысячелетия назад в безудержном приступе классицизма, ему не было места, такой стране не было до него дела.

Теперь стало вовсе не обязательно проектировать дома, достаточно было их сфотографировать. Архитектор с наилучшей библиотекой признавался наилучшим архитектором. Подражатели подражали подражаниям. И все это благословлялось от имени Культуры с большой буквы; из руин поднялись двадцать веков; торжествовала великая Выставка; а в каждом семейном альбоме появились европейские цветные открытки на любой вкус.

Этому Генри Камерон ничего противопоставить не мог. Ничего, кроме веры, которой он держался только потому, что сам ее основал. Ему некого было цитировать и нечего сказать. Он всего лишь говорил, что форма здания должна отвечать его назначению; что конструкция здания – это ключ к его красоте; что новые методы строительства требуют новых форм; что он хочет строить так, как ему вздумается, и только по этой причине. Но как могли люди прислушаться к нему, когда они обсуждали Витрувия²⁵, Микеланджело²⁶ и

²⁵ *Витрувий (Марк Витрувий Поллион)* – римский зодчий и инженер второй половины I в. до н. э. Трактат Витрувия «Десять книг об архитектуре» – энциклопедия

сэра Кристофера Рена²⁷?

Люди ненавидят страсть, особенно страсть великую. Генри Камерон совершил ошибку – он страстно полюбил свою работу. Поэтому и сопротивлялся. Поэтому и проиграл.

Все говорили, что он так и не понял, что проиграл. А если и понял, то никому не дал это почувствовать. Чем реже появлялись заказчики, тем высокомернее он с ними держался. Чем меньшим становился престиж его имени, тем заносчивее звучал его голос, это имя произносивший. У него был очень толковый менеджер, маленький, тихий и скромный человек с железным характером, который в дни славы Камерона спокойно выдерживал бурные истерики архитектора и приводил ему клиентов. Камерон оскорблял их и выставлял вон, но маленький человек добивался того, что заказчики, забыв об оскорблениях, возвращались. Этот человек умер.

Камерон никогда не умел обращаться с людьми. Они для него не имели ни малейшего значения, как не имела значения и сама жизнь, и вообще все, не считая зданий. Он так и не научился объяснять, а только приказывал. Его никто не любил. Его боялись. А теперь и бояться перестали.

лопедический свод технических знаний древности – с XV в. служил важнейшим источником для выработки канонических форм архитектурного ордера.

²⁶ *Микеланджело* Буонарроти (1475–1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.

²⁷ *Рен*, Кристофер, сэр (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном, представитель классицизма. Из возведенных им сооружений наиболее известен собор Св. Павла в Лондоне (1675–1710).

Его оставили в живых. Он жил и проклинал улицы города, который когда-то так мечтал перестроить. Он жил, сидя за столом в своей пустой конторе, неподвижно, в праздном ожидании. Он жил и однажды прочел в газетной статье, написанной с самыми благими намерениями, упоминание о «покойном Генри Камероне». Он жил и начал пить – пить одиноко, тихо, страшно, дни и ночи напролет. Он жил и слышал, как те, кто довел его до такой жизни, говорили, когда его имя упоминалось в связи с возможным заказом: «Камерон? Я бы не советовал. Он пьет как сапожник. Поэтому и сидит без заказов». Он жил, перебираясь из бюро, занимавшего три этажа в очень престижном офисном центре, в другое, занимающее один этаж в здании куда менее известном; оттуда – в гостиничный номер ближе к окраине; потом в три комнаты с видом на вентиляционную шахту. Он остановил свой выбор на этих комнатах в самом трущобном районе лишь потому, что, прижавшись щекой к оконному стеклу, мог видеть поверх кирпичной стены кусочек здания Дэйна.

Говард Рорк тоже смотрел на здание Дэйна, пока стоял под окнами, пока поднимался, останавливаясь на каждой площадке, на шестой этаж, в кабинет Генри Камерона, – лифт не работал. Давным-давно лестницу покрасили грязновато-зеленой краской. Ее осталось совсем немного. Она скрипела под подошвами и разъезжалась неровными кусками. Рорк преодолевал лестничные пролеты быстро, будто ему было назначено время, держа под мышкой папку с эскизами и не

сводя глаз со здания Дэйна. Один раз он столкнулся с человеком, который спускался вниз. За последние два дня такое с ним случалось нередко. Он ходил по улицам города, высоко поднимая голову и не замечая ничего, кроме домов Нью-Йорка.

В темной клетушке – приемной Камерона – стоял стол с телефоном и пишущей машинкой. За столом сидел тощий как скелет седой мужчина без пиджака, демонстрируя дряблые подтяжки. Он сосредоточенно печатал какие-то технические данные двумя пальцами, но с невероятной скоростью. Свет от тусклой лампочки желтым пятном расплылся у него по спине, там, где мокрая рубашка прилипла к лопаткам.

Когда Рорк вошел, мужчина медленно поднял голову. Он посмотрел на Рорка, ничего не сказал, лишь выжидательно впился в него усталыми, старыми, нелюбопытными глазами.

– Я хотел бы повидать мистера Камерона, – сказал Рорк.

– Да ну? – ответил мужчина. В голосе его не было ни вызова, ни угрозы, вообще какого-либо выражения. – И зачем?

– По поводу работы.

– Какой работы?

– Чертежником.

Мужчина тупо посмотрел на него. Давненько не доводилось принимать посетителей, пришедших с подобной просьбой. Наконец он поднялся, не говоря ни слова, прошаркал к двери, находившейся у него за спиной, и вошел в нее.

Он оставил дверь приоткрытой, и Рорку был слышен его протяжный говорок:

– Мистер Камерон, там какой-то парень. Говорит, на работу к вам пришел устраиваться.

Сильный и внятный голос, в котором не было и намека на старость, отозвался:

– Что еще за идиот? Вышвырни его вон... погоди! Давай его сюда!

Пожилой мужчина вернулся и, придерживая дверь, молча потряхнул головой в ее направлении. Рорк вошел. Дверь за ним закрылась.

В дальнем конце длинной и пустой комнаты за столом сидел Генри Камерон, наклонившись, упираясь локтями в стол, сложив ладони замком. Борода и волосы его были черны, как уголь, и кое-где перемежались с жесткими седыми прядями. На короткой толстой шее, как канаты, проступали мышцы. На нем была белая рубашка, рукава которой были закатаны выше локтя, открывая мощные, тяжелые загорелые руки. Кожа на широком лице загрубела, как дубленая. Темные глаза смотрели живо и молодо.

Рорк застыл на пороге. Они посмотрели друг на друга через длинную комнату.

Кабинет, выходящий на вентиляционную шахту, был погружен в серый полумрак. Пыль на чертежной доске, на немногочисленных зеленых папках походила на некие мохнатые сталагмиты, порожденные этим скудным освещением. Но на стене, между окнами, Рорк увидел рисунок. Это был единственный рисунок в комнате, и изображал он небо-

скреб, который так и не был построен.

Быстро окинув взглядом комнату, Рорк остановил внимание на рисунке. Пройдя через кабинет, он остановился перед ним и стал его внимательно рассматривать. Камерон следил за ним тяжелым взглядом, напоминая длинную иглу, один конец которой, крепко удерживаемый Камероном, медленно описывал в воздухе полукруг, а другой, острый, пронзил тело Рорка и намертво засел в нем. Камерон смотрел на рыжие волосы, на руку, висящую вдоль тела. Ладонью рука была обращена к рисунку, пальцы чуть согнуты, замерев даже не в жесте, а в некоей прелюдии жеста, выражающего намерение что-то попросить или забрать.

– Ну и? – наконец спросил Камерон. – Ко мне пришел или картинки разглядывать?

Рорк повернулся к нему:

– И то и другое.

Он подошел к столу. В присутствии Рорка люди всегда вдруг начинали сомневаться в реальности собственного существования; но Камерон внезапно почувствовал, что никогда еще он не был так реален, как сейчас, отражаясь в смотрящих на него глазах.

– Чего тебе надо? – грубо спросил он.

– Я хотел бы работать у вас, – спокойно отвечал Рорк. В интонации отчетливо слышалось: «Я буду работать у вас».

– Так прямо и будешь? – сказал Камерон, не сознавая, что отвечает на произнесенную фразу. – А что случилось?

Публика почище и получше не желает тебя взять?

– Я ни к кому другому не обращался.

– Почему же? Уж не думаешь ли ты, что здесь новичку устроиться проще всего? Думаешь, сюда запросто принимают первых встречных? Да знаешь ли ты, кто я такой?

– Знаю. Поэтому и пришел.

– Кто тебя прислал?

– Никто.

– Тогда какого черта ты выбрал именно меня?

– Я думаю, что это вам известно.

– И у тебя хватило наглости вообразить, что я захочу взять тебя? Видно, решил, что я на такой мели, что готов распахнуть ворота перед первым попавшимся щенком, который со-благоволит оказать мне такую честь? Небось подумал: «Старик Камерон совсем опустился, пьет...» Подумал же, признавайся!.. «Старый пьяница и неудачник, который не будет слишком разборчив!» Так? Отвечай же! Отвечай, черт тебя дери! Чего вылупился? Так? Давай-давай, ври, что не так!

– В этом нет никакой надобности.

– Раньше где работал?

– Только начинаю.

– Чем занимался?

– Три года учился в Стентоне.

– О-о! Значит, лень закончить помешала?

– Меня исключили.

– Замечательно! – Камерон хлопнул по столу кулаком и

расхохотался. – Великолепно! Значит, для этого питомника вшей в Стентоне ты не годишься, а для работы у Генри Камерона – в самый раз?! Решил, что здесь у меня самое место для отбросов? За что тебя вышибли? Пьянка? Бабы? Что?

– Это, – сказал Рорк и протянул свои чертежи.

Камерон посмотрел на верхний, потом на следующий, потом просмотрел всю папку до самого дна. Рорк слышал лишь шуршание бумаги, а Камерон молча переворачивал лист за листом. Потом архитектор поднял голову:

– Садись.

Рорк подчинился. Камерон пристально смотрел на него, барабанил толстыми пальцами по кипе эскизов.

– Значит, по-твоему, они хороши? – спросил Камерон. – Так вот, они ужасны. Неопишимо, преступно ужасны. Смотри. – Он ткнул чертеж прямо в лицо Рорку. – Посмотри сюда. Какая тут у тебя основная мысль? Какого черта ты этот план сюда вставил? Просто хотел, чтобы вышло красивенько, раз уж надо было как-то свести в одно? Кем ты себя возомнил? Гаем Франконом, не приведи Господь?.. А на этот проект посмотри, недоучка! Такая идея, а ты даже не знаешь, что с ней делать! Обязательно надо было загубить такую прекрасную идею?! Да знаешь ли, сколько тебе еще надо учиться?

– Знаю. Потому и пришел.

– А на это взгляни! Мне б такое придумать в твоём возрасте! И непременно надо было испохабить? Знаешь, что бы с этим сделал? Вот, смотри, к черту твои лестницы, к черту

котельную! Когда закладываешь фундамент...

Говорил он страстно и долго, непрерывно ругался, не мог найти ни одного эскиза, которым остался бы доволен. Но Рорк заметил, что говорит он так, будто по этим проектам уже идет строительство.

Камерон резко остановился, оттолкнул от себя папку с эскизами и положил на нее кулак. Он спросил:

– Когда ты решил стать архитектором?

– В десять лет.

– Врешь. В таком возрасте никто толком не знает, чего хочет.

– Не вру.

– Не смотри на меня так! Не можешь, что ли, в другую сторону смотреть? Почему решил стать архитектором?

– Тогда я не знал. Но теперь знаю: потому что не верю в Бога.

– Брось! Говори по делу!

– Потому что люблю эту землю. И больше ничего так не люблю. Мне не нравится форма предметов на этой земле. Я хочу эту форму изменить.

– Для кого?

– Для себя.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать два.

– Когда и от кого ты все это услышал?

– Никогда. Ни от кого.

- В двадцать два года так не говорят. Ты ненормальный.
- Скорее всего.
- Это не комплимент.
- Я понял.
- Семья есть?
- Нет.
- Работал, когда учился?
- Да.
- Где?
- На стройке.
- Денег сколько осталось?
- Семнадцать долларов тридцать центов.
- Когда в Нью-Йорк приехал?
- Вчера.

Камерон посмотрел на белую стопку листов, прижатую его кулаком.

– Черт тебя возьми! – тихо сказал Камерон и вдруг взревел, подавшись вперед: – Черт тебя возьми! Я тебя приходить сюда не просил! Не нужен мне чертежник! Здесь нечего чертить! Нет у меня работы! Мне с моими служащими приходится ходить на Бауэри благотворительным супчиком кормиться!²⁸ Не нужны мне дураки-идеалисты, которые будут тут с голоду помирать! Не желаю брать на себя ответствен-

²⁸ *ходить на Бауэри благотворительным супчиком кормиться!* – Бауэри-стрит – улица в Нью-Йорке, на которой расположены дешевые увеселительные заведения, мелкие лавочки и ночлежки.

ность. И без того тошно. Никогда не думал, что еще увижу такое. Для меня все это в прошлом. В далеком прошлом. Меня вполне устраивают кретины и бездари, которые у меня сейчас служат, у которых никогда ничего не было и никогда не будет и которым все равно, что из них выйдет. Больше мне ничего не надо. Зачем ты сюда явился? Решил сам себя угробить, так? И чтоб я тебе в этом помог? Видеть тебя не хочу! Ты мне не нравишься. Лицо твое мне не нравится. У тебя вид законченного эгоиста. Ты наглый. Ты слишком самоуверенный. Лет двадцать назад я бы тебе с превеликим удовольствием морду начистил. Завтра явишься в девять ноль-ноль.

– Да, – сказал Рорк, поднимаясь.

– Пятнадцать долларов в неделю. Больше платить не могу.

– Да.

– Ты идиот. Пошел бы к кому-нибудь другому. Если передумаешь и пойдешь к другому, я тебя придушу. Как тебя зовут?

– Говард Рорк.

– Опоздаешь – уволю.

– Да.

Рорк протянул руку за рисунками.

– Здесь оставь! – рявкнул Камерон. – Мотай отсюда!

IV

– Тухи, – сказал Гай Франкон. – Эллсворт Тухи. Очень мило с его стороны, как ты считаешь, Питер? Прочти-ка вслух.

Франкон весело перегнулся через стол и вручил Китингу августовский номер «Новых рубежей». На белой обложке журнала стояла черная эмблема, на которой соединились палитра, лира, молот, отвертка и восходящее солнце. Журнал выходил тиражом в тридцать тысяч, и его сторонники именovali себя интеллектуальным авангардом страны. Никому и в голову не пришло бы подвергнуть сомнению это утверждение. Китинг вслух зачитал отрывок из статьи под названием «Мрамор и цемент», вышедшей из-под пера Эллсворта Тухи:

«...а теперь мы перейдем к другому выдающемуся достижению из области местного градостроительства. Мы призываем всех, кто обладает изысканным вкусом, обратить внимание на новый дом Мелтона, созданный в бюро Франкона и Хейера. Он возвышается в своем белом величии, словно красноречивый свидетель триумфа классической чистоты и здравого смысла. Уроки бессмертной традиции послужили связующим фактором при возведении здания, красота которого способна просто и ясно дойти до сердца самого что ни на есть человека с улицы. В нем нет ни уродливого стремления выставить себя напоказ, ни извращенной жаж-

ды оригинальности, ни упоения безудержным эгоизмом. Гай Франкон, его создатель, знает, как подчинить себя непрекаемым канонам, нерушимость которых доказали многие поколения мастеров. В то же время он умеет проявить собственную творческую оригинальность, но не вопреки, а как раз благодаря классическим догматам, которые он принял со смирением, подобающим истинному художнику. Возможно, здесь следует вкратце упомянуть, что следование канонам есть непреложное условие для проявления истинного новаторства...

Однако куда более важным является символическое значение появления подобного здания в нашем великом городе. Стоя перед его южным фасадом, невозможно не испытать потрясения, осознав, что орнаментальные фризы, повторяющиеся с намеренным и изящным постоянством с третьего этажа по восемнадцатый, эти длинные, прямые горизонтальные линии, воплощают в себе принцип сдерживания и выравнивания. Это линии всеобщего равенства. Кажется, будто они низводят величественное строение до скромного роста зрителя. Это линии самой земли, линии народа, линии великих человеческих масс. Они словно говорят нам, что никто не вправе слишком высоко подниматься над уровнем среднего человека, что все, даже это величественное строение, удерживается и смиряется узами человеческого братства...»

И это было не все. Китинг дочитал статью до конца и поднял голову.

– Вот это да, – восторженно произнес он.

Франкон счастливо улыбнулся:

– Неплохо, да? И не от кого-нибудь, а от самого Тухи! Пока еще немногие знают эту фамилию, но узнают, помяни мое слово, узнают. Все признаки налицо... Значит, он не считает, что я так уж плох? А ведь язык у него как жало, когда он того пожелает. Слышал бы ты, что он обычно говорит про других. Ты видел этот хлев – последнее творение Даркина? Так вот, я был на приеме, где Тухи сказал... – Франкон не смог сдержать смеха. – Он сказал: «Если мистер Даркин имеет несчастье считать себя архитектором, кто-то обязан поведать ему, сколь великолепные возможности открывает нынешняя нехватка квалифицированных сантехников». Он именно так и сказал, представь себе, публично!

– Интересно, – сказал Китинг, – что он скажет обо мне, когда наступит время?

– Только не пойму, что он имел в виду, говоря о каком-то символическом значении и об узах человеческого братства... Ну, в общем, если он нас за такое хвалит, надо бы призадуматься.

– Дело критика, мистер Франкон, – разъяснять художника, в том числе и самому художнику. Мистер Тухи просто выразил словами то скрытое значение, которое вы подсознательно вложили в свое творение.

– Ах вот как, – с неопределенной интонацией произнес Франкон и тут же бодро добавил: – Ты так думаешь? Воз-

можно... Да, вполне возможно... Ты умный мальчик, Питер.

– Благодарю вас, мистер Франкон. – Китинг приготовился встать.

– Постой. Посиди еще. Выкурим еще по одной, а уж потом погрузимся в тягомотину будней.

Перечитывая статью, Франкон улыбался. Китинг никогда не видел его таким довольным. Ни один проект, выполненный в бюро, ни одна завершенная стройка не радовали его так, как эти слова другого человека, напечатанные в журнале, где каждый мог их прочесть.

Китинг непринужденно сидел в удобном кресле. Месяц, отработанный им в фирме, был проведен с большой пользой. Он ничего не говорил и ничего не предпринимал, но по бюро распространилось мнение, что Гаю Франкону нравится общество этого юноши. Ни дня не проходило без приятной паузы в работе, когда Китинг сидел по другую сторону стола Франкона, уважительно, но с ощущением растущей дружеской близости, выслушивая жалобы босса на нехватку в его окружении людей, способных его понимать.

От своих коллег-чертежников Китинг узнал о Франконе все, что только мог узнать. Что Гай Франкон умерен в еде, но предпочитает изысканные блюда и с гордостью называет себя гурманом; что он с отличием закончил парижскую Школу изящных искусств; что он женился на больших деньгах, но брак оказался неудачным; что носки он надевает строго под цвет носовых платков и никогда – под цвет галстуков;

что он предпочитает создавать дома в сером граните; что в Коннектикуте у него есть собственная каменоломня серого гранита, дела которой находятся в самом блестящем состоянии; что он содержит роскошную холостяцкую квартиру в стиле Людовика Пятнадцатого; что жена его, из благородной старой фамилии, умерла, оставив все состояние единственной дочери; и что дочь, которой сейчас девятнадцать, учится в колледже за пределами штата Нью-Йорк.

Два последних факта особенно заинтересовали Китинга. В разговоре с Франконом он исподволь, как бы между прочим, затронул тему дочери. «Да... – с заметным напряжением выговорил Франкон. – Да, конечно». Китинг прекратил все дальнейшие исследования этого вопроса – временно. По лицу Франкона было ясно видно, что мысли о дочери ему крайне неприятны. Отчего – Китинг узнать не смог.

Познакомился Китинг и с Лусиусом Н. Хейером, партнером Франкона. От его внимания не ускользнуло, что Хейер появился в бюро всего два раза за три недели, но он так и не узнал, чем же все-таки занимается Хейер в фирме. Гемофилии у Хейера не было, но выглядел он по-настоящему анемичным – увядший аристократ с длинной тощей шеей, бесцветными глазами навывкате, крайне вежливый и как будто чем-то постоянно напуганный. Он был последним представителем древнего рода, и высказывалось подозрение, что Франкон заманил Хейера в партнеры ради его связей в высшем обществе. Все очень жалели беднягу Лусиуса, востор-

гались его смелой попыткой заняться делом, да еще каким, и считали, что будет очень мило заказать постройку дома именно ему. Эти дома строил Франкон, и от Лусиуса никаких дальнейших услуг не требовалось. Такое положение дел устраивало всех.

Все чертежники были без ума от Питера Китинга. Он сумел внушить всем такое ощущение, будто он давным-давно работает здесь. Ему всегда удавалось везде становиться как бы незаменимым, куда бы он ни попадал. Он появлялся негромко и весело и, как губка, легко впитывал дух и настроение любого нового коллектива. Дружеская улыбка, веселый голос, легкое пожатие плеч – все, казалось, свидетельствовало, что душу его ничто не тяготит, что он не из тех, кто будет кого-то обвинять, чего-то требовать, чем-то возмущаться.

Сейчас он сидел и смотрел, как Франкон читает статью. Тот оторвался от чтения, посмотрел на молодого человека и увидел глаза, смотрящие на него с невероятным почтением, и две презрительные точки в углах рта, словно две еще неозвученные смешинки. Франкон почувствовал себя несказанно уютно. Ощущение уюта проистекало именно из подмеченного им презрения. Как раз сочетание почтения и этой едва заметной иронической улыбки на губах подчиненного и создавало между ними идеальные отношения, вознося Франкона на должную высоту и не требуя с его стороны никаких усилий. Слепое восхищение было опасно; заслуженное восхищение налагало определенную ответственность. А

вот восхищение заведомо незаслуженное было драгоценным даром.

– Питер, когда будешь выходить, передай это мисс Джефферс, пусть вклеит в мой альбомчик.

Спускаясь по лестнице, Китинг подбросил журнал высоко в воздух и ловко поймал его, беззвучно насвистывая.

В чертежной он застал Тима Дейвиса, лучшего своего друга, который понуро стоял над эскизом с видом полного отчаяния. Тим Дейвис – тот самый высокий юный блондин, который работал за соседним столом и которого Китинг давно уже приметил, поскольку совершенно определенно знал, хоть и не имел ощутимых доказательств, что из всех чертежников Тим пользуется самым большим расположением начальства, а в таких делах Китинг не ошибался никогда. Как только выдавалась такая возможность, Китинг старался получить задание поработать над деталями того проекта, которым занимался Дейвис. Вскоре они уже вместе ходили обедать, а после работы вместе забегали в тихий кабачок, где Китинг, затаив дыхание, слушал рассказы Дейвиса о его любви к некоей Элен Даффи. Через пару часов Китинг не мог вспомнить ни слова из этих рассказов.

Сейчас он увидел Дейвиса в состоянии мрачной подавленности. Тот остервенело жевал сигарету и кончик карандаша одновременно. Китингу не было надобности задавать вопросы. Он просто наклонился и дружески заглянул Дейвису через плечо. Тот выплюнул сигарету и взорвался – оказалось,

что сегодня его оставили работать сверхурочно, третий раз за неделю!

– Опять сидеть здесь черт знает сколько! Надо позарез, видишь ли, закончить эту хреновину, и обязательно сегодня! – Он с силой ударил по листам, разложенным перед ним. – Да ты только посмотри! Тут и до утра не закончить! Что же мне делать?

– Тим, это все потому, что ты здесь лучше всех и без тебя не обойтись.

– Да пошло оно все к черту! У меня же сегодня свидание с Элен! Что же, прикажете не являться?! Третий раз! Она мне просто не поверит! В последний раз она мне так и сказала. Все! Иду к великому Гаю и расскажу ему, куда он может засунуть свои проекты и свое чертово бюро! с меня довольно!

– Подожди, – сказал Китинг и придвинулся поближе к Тиму. – Есть и другой способ. Я их закончу вместо тебя.

– Что?

– Я останусь и все сделаю. Не беспокойся. Никто ничего не заметит.

– Пит! Честное слово?

– А как же? Все равно мне сегодня делать нечего. А ты потусуйся здесь, пока все не разойдутся, а потом смывайся.

– Да ты что, Пит! – Дейвис вздохнул. Предложение было соблазнительно. – Только, понимаешь, если кто узнает, меня выгонят. Ты же еще новичок для такой работы.

– Никто же не узнает.

– Мне нельзя потерять работу, Пит. Ты же знаешь. Мы с Элен должны скоро пожениться. И если что случится...

– Ничего не случится.

В начале седьмого Дейвис потихоньку вышел из чертежной, оставив на своем месте Китинга. Склонившись под одинокой зеленой лампой, Питер окинул взглядом безлюдные просторы чертежной. После дневного шума было непривычно тихо, и у Китинга возникло чувство, что все здесь, все три длинные смежные комнаты принадлежат ему одному. Это ощущение не пропадало. Карандаш в его руках двигался быстро и уверенно.

В половине десятого он закончил работу, аккуратно сложил чертежи на стол Дейвиса и вышел из бюро. Он шел по улице, испытывая приятное чувство, как после хорошего обеда. Но, сделав несколько шагов, он внезапно и остро ощутил собственное одиночество. Сегодня ему было просто необходимо с кем-нибудь это одиночество разделить. Но у него никого не было. Впервые ему захотелось, чтобы мать оказалась в Нью-Йорке, рядом с ним. Она осталась в Стентоне, дожидаясь того дня, когда он сможет послать за ней. Сегодня ему было некуда идти, кроме как в благопристойный пансиончик на Двадцать восьмой западной²⁹, где, под-

²⁹ на Двадцать восьмой западной... – в Нью-Йорке принята сетчатая схема расположения улиц. Улицы (стрит) начинаются с востока на запад и нумеруются последовательно, проспекты (авеню) – с севера на юг. Некоторые улицы и проспекты имеют названия. Обычно они пересекаются под прямым углом. В Нижнем Манхэттене на восток и запад город делит Пятая авеню.

нявшись на третий этаж, он оказался бы в своей чистой и душной комнатке. Да, в Нью-Йорке он знал многих, в том числе и девушек. С одной из них он очень мило скоротал ночь, да только никак не мог припомнить ее фамилию. Но с ними ему сейчас не хотелось встречаться. И тут он вспомнил о Кэтрин Хейлси.

В день окончания института он послал ей телеграмму и с тех пор совершенно забыл о ней. Как только в его памяти возникло имя Кэтрин, ему захотелось увидеться с ней; это желание вспыхнуло мгновенно и с огромной силой. Он вскочил в автобус, идущий до Гринвич-Виллидж³⁰, забрался на безлюдный империал³¹ и, сидя в одиночестве на переднем сиденье, ругал светофоры, стоило на них появиться красному свету. И так бывало всякий раз, когда дело касалось Кэтрин, и всякий раз он недоумевал: что же с ним происходит?

Познакомился он с ней год назад, в Бостоне, где она жила со своей матерью-вдовой. При первой встрече он нашел Кэтрин скучной и некрасивой и не заметил в ней ничего хорошего, кроме приятной улыбки, которая еще не была достаточным основанием, чтобы ему захотелось вновь увидеть Кэтрин. На другой вечер он ей позвонил. Из множества де-

³⁰ *Гринвич-Виллидж* – один из кварталов Нью-Йорка в западной части Манхэттена, ранее населенный по преимуществу писателями, художниками, актерами, представителями богемы. В 1920-е гг. получил славу «американского Монмартра».

³¹ *Империал* – верхняя часть конки, омнибуса и т. п. с местами для пассажиров.

вушек, с которыми он водился в студенческие годы, с ней единственной он не позволил себе ничего, кроме нескольких легких поцелуев. Он легко мог бы обладать любой из знакомых девушек и знал об этом. Знал он также, что мог бы обладать и Кэтрин; он желал ее; она была в него влюблена и спокойно, открыто признавалась в этом, без страха, без робости, ни о чем его не прося и ничего не ожидая, и все же он не спешил этим воспользоваться. Питер гордился девушками, с которыми водился в те годы, – самыми красивыми, самыми популярными, самыми модными. Зависть сокурсников радовала его чрезвычайно.

Он стыдился беззаботного и небрежного отношения Кэтрин к собственной внешности, нарядам и манерам; стыдно ему было и за то, что ни один молодой человек, кроме него, не обратил бы на нее ни малейшего внимания. Но когда он появлялся с ней на танцах, устроенных студенческим союзом, не было человека счастливее его. Питер влюблялся множество раз, бурно, страстно, и всякий раз клялся, что не может жить без этой девушки... или другой. Месяцами он начисто забывал о Кэтрин, а она никогда не напоминала ему о себе. Он всегда возвращался к ней, неожиданно, необъяснимо для самого себя. Так случилось и в этот вечер.

Ее мать, тихая и неприметная школьная учительница, умерла прошлой зимой. Кэтрин переехала в Нью-Йорк, к дяде. На некоторые из ее писем Китинг отвечал немедленно, на другие же – спустя несколько месяцев. Она всегда отве-

чала незамедлительно, но никогда не писала ему в те долгие промежутки, когда он молчал. Она ждала, ждала терпеливо. Когда ему случалось подумать о ней, он чувствовал, что заменить ее не может ничто в жизни. Но, оказавшись в Нью-Йорке, где так легко было добраться до нее, сев в автобус или набрав телефонный номер, он начисто забыл о ней и не вспоминал в течение месяца.

Теперь, спеша к ней, он и не подумал, что надо было бы оповестить ее о своем визите, что ее может не оказаться дома. Ведь он всегда появлялся у нее неожиданно, и Кэтрин всегда оказывалась на месте, и этот вечер не был исключением.

Она открыла ему дверь. Ее квартира находилась на верхнем этаже построенного с большой претензией, но сильно запущенного большого особняка.

– Здравствуй, Питер, – сказала она так, словно они виделись только вчера.

Она стояла перед ним в наряде, который был ей велик и в длину, и в ширину. Короткая черная юбка мешком свисала со стройной талии; воротничок блузки, явно широкий для ее тонкой шеи, перекосясь, обнажив холмик тонкой ключицы; хрупкие руки терялись в широченных рукавах. Она смотрела на него, склонив голову набок. Ее каштановые волосы были небрежно собраны в хвостик на затылке. Но ему показалось, что у нее модная короткая стрижка, а волосы образуют легкий волнистый нимб вокруг ее лица. Глаза у нее были

серые, большие, близорукие. Блестящие губы растянулись в неспешной, чарующей улыбке.

– Привет, Кэти, – сказал он.

Он ощутил полный покой. Ему нечего было бояться в этом доме, да и за его пределами. Он был готов объясниться с ней, рассказать, что здесь, в Нью-Йорке, у него не выдалось ни одной свободной минутки, только все объяснения казались сейчас ненужными.

– Давай мне шляпу, – сказала она, – и осторожнее с этим стулом, он не очень прочный. У нас в гостиной стулья лучше, пойдем туда.

Гостиная, как он заметил, была обставлена просто, но с необъяснимым изяществом и большим вкусом, чего он никак не ожидал. Он обратил внимание на книги – недорогие стеллажи, поднимающиеся до самого потолка, были забиты ценнейшими изданиями. Книги стояли вразнобой, кое-как. Было видно, что здесь ими действительно пользуются. И еще он заметил над убогим, но аккуратно прибранным письменным столом офорт Рембрандта, пожелтевший и покрытый пятнами, высмотренный, по всей вероятности, в лавке старьевщика зорким знатоком, который ни за что не расстанется с этим сокровищем, хотя деньги, которые он мог за него выручить, явно бы ему не помешали. Питер задумался, чем же занимается дядя Кэтрин. Но этого вопроса так и не задал.

Он стоял, оглядывая гостиную, ощущая за своей спиной присутствие Кэтрин, наслаждаясь чувством полной уверен-

ности, которое ему так редко доводилось испытывать. Потом он обернулся, обнял ее и поцеловал. Ее губы нежно и радостно слились с его губами. В ней не чувствовалось ни страха, ни особого волнения. Она была так счастлива, что не могла воспринять этот поцелуй иначе, чем нечто само собой разумеющееся.

– Боже мой, как я по тебе соскучился! – сказал он и почувствовал, что говорит чистую правду. Он скучал по ней каждый день, и больше всего, видимо, в те дни, когда вовсе не вспоминал о ней.

– Ты не очень изменился, – сказала она. – Может быть, чуточку похудел. Тебе идет. Питер, в пятьдесят лет ты будешь очень красив.

– Это не слишком лестно, если подумать.

– Почему? А, ты хочешь сказать, что я не считаю тебя красивым сейчас? Да нет же, ты такой красивый!

– Знаешь, тебе не следовало бы говорить мне это прямо в лицо.

– А что? Ты же знаешь, что это так. Я просто подумала, каким ты будешь в пятьдесят. У тебя будет седина на висках, а носить ты будешь серые костюмы – я на той неделе видела такой костюм в витрине и еще подумала, что это тот самый и есть. И ты будешь великим архитектором.

– Ты на самом деле так думаешь?

– А как же иначе? – Она не льстила ему. Скорее всего, она вообще не представляла себе, что это может воспринимать-

ся как лесть. Она просто констатировала факт, причем факт настолько очевидный, что его даже не требовалось подчеркивать.

Он ждал неизбежных расспросов. Но вместо этого они вдруг заговорили о Стентоне, принялись делиться общими воспоминаниями, и Питер уже смеялся, посадив Кэтрин себе на колени. Она опиралась худыми плечами на его согнутую в локте руку, глаза ее смотрели нежно и удовлетворенно. Он говорил об их старых купальных костюмах, о спущенных петлях на ее чулках, о любимом кафе-мороженом в Стентоне, где они вместе провели так много летних вечеров. При этом он как-то неотчетливо думал, что так не годится, что ему надо сказать ей куда более важные вещи, задать ей более важные вопросы. Ведь никто не беседует о пустяках после многомесячной разлуки. Но ей такая беседа казалась совершенно естественной. Казалось, она вообще не сознает, что они давно не виделись.

Наконец он первым спросил:

– Ты получила мою телеграмму?

– Да. Спасибо.

– Разве тебе не интересно знать, как у меня идут дела здесь, в Нью-Йорке?

– Очень интересно. Как у тебя идут дела здесь, в Нью-Йорке?

– Слушай, да тебе совсем неинтересно!

– Интересно! Я хочу знать о тебе все.

– Тогда почему не спрашиваешь?

– Ты сам расскажешь, когда захочешь.

– А тебе все равно, не так ли?

– Что все равно?

– Чем я занимаюсь.

– А... Нет, совсем не все равно. Хотя да, все равно.

– Очень мило с твоей стороны!

– Понимаешь, мне не важно, *что* ты делаешь. Важен только *ты сам*.

– Как это – я сам?

– Ну, какой ты сейчас. Или какой в городе. Или еще где-нибудь. Я не знаю. Вот так.

– А знаешь, Кэти, ты такая дурочка. Твой метод никуда не годится.

– Мое что?

– Твой метод. Нельзя же так прямо, не стесняясь, показывать мужчине, что ты от него практически без ума.

– А если так и есть?

– Да, но об этом нельзя говорить. Тогда ты не будешь нравиться мужчинам.

– Но я не хочу нравиться мужчинам.

– Но ты ведь хочешь нравиться мне, да?

– Но я тебе и так нравлюсь – или нет?

– Нравишься, – сказал он, крепче обнимая ее. – Чертовски нравишься. Я еще больший идиот, чем ты.

– Ну тогда все в полном порядке, – сказала она, запустив

пальцы в его шевелюру. – Или нет?

– Странно, что у нас все всегда в полном порядке... Кстати, я хочу рассказать тебе о своих делах, потому что это важно.

– Честное слово, Питер, мне очень интересно.

– Словом, ты знаешь, что я работаю у Франкона и Хейера и... А, черт, ты даже не понимаешь, что это значит!

– Понимаю. Я посмотрела в справочнике «Кто есть кто в архитектуре». Там о них пишут очень приятные вещи. И еще я спрашивала у дяди. Он сказал, что они в архитектурном деле стоят выше всех.

– Еще бы. Франкон... он величайший архитектор в Нью-Йорке, во всей стране, возможно, и в мире. Он спроектировал семнадцать небоскребов, восемь соборов, шесть вокзалов и еще бог знает что... При этом, разумеется, он старый надутый осел и мошенник, который проложил себе дорогу лестью и взятками... – Он резко замолчал, открыв рот и вытаращив глаза. Он совсем не хотел такое сказать, никогда не позволял себе даже думать так.

Кэтрин спокойно смотрела на него.

– Да? – спросила она. – И что?..

– В общем... э-э-э... – Он запнулся, поняв, что по-другому говорить не может. А если может, то только не с ней. – В общем, так я его воспринимаю. И ни капельки его не уважаю. И счастлив работать у него. Понимаешь?

– Конечно, – тихо ответила она. – Ты честолюбив, Питер.

– Ты не презираешь меня за это?

– Нет. Ты же сам этого хотел.

– Вот именно, сам этого хотел. На самом деле все вовсе не так плохо. Это мощная фирма, лучшая во всем городе. Я действительно работаю неплохо, и Франкон мною очень доволен. Я хорошо продвигаюсь. Думаю, что в конце концов смогу занять у них любой пост, какой только пожелаю... Да, как раз сегодня я сделал работу за другого, который даже не понимает, что скоро окажется никому не нужным, и тогда... Кэти! Что это я такое плету?

– Все нормально, милый. Я все понимаю.

– Если бы понимала, то назвала бы меня тем словом, которого я заслуживаю, и велела мне заткнуться.

– Нет, Питер, я не хочу, чтобы ты изменился. Я же люблю тебя.

– Боже тебя сохрани!

– Я знаю.

– И ты это знаешь и так говоришь? Таким тоном, каким обычно говорят: «Привет, славный нынче вечерок»?

– А почему нельзя? Что тебе не нравится? Ведь я люблю тебя.

– Нет, нравится! Мне нравится!.. Кэти... я никогда не смогу полюбить кого-то, кроме тебя...

– И это я знаю.

Он обнял ее, бережно, словно опасаясь, что ее хрупкое тело вот-вот растает. Он не понимал, почему в ее присутствии

признается в том, в чем не может признаться и самому себе. Он не понимал, почему торжество, которым он пришел поделиться, вдруг потускнело. Но все это не имело никакого значения. Его охватило странное чувство свободы – рядом с Кэтрин он всегда освобождался от какой-то тяжести, определить которую точнее не мог. Он становился самим собой. Теперь для него имело значение лишь одно – ощущать рукой грубую ткань ее блузки.

Потом он спросил, как она живет в Нью-Йорке, и она принялась оживленно рассказывать о дяде.

– Он такой замечательный, Питер. Ну совершенно замечательный! Бедный совсем и все же принял меня в свой дом. Даже освободил свой кабинет, чтобы мне было где устроиться, и теперь ему приходится работать здесь, в гостиной. Тебе непременно надо с ним познакомиться, Питер. Сейчас он в отъезде, выступает с лекциями, но тебе надо с ним познакомиться, когда он приедет.

– Да, мне бы очень хотелось.

– Знаешь, я думала устроиться на работу и зарабатывать себе на жизнь, но он мне не позволил. «Деточка моя, – сказал он, – только не в семнадцать лет. Не хочешь же ты, чтобы мне было стыдно перед самим собой? Я не сторонник детского труда». Занятная мысль, правда? У него масса занятных мыслей, я не все понимаю, но говорят, что он человек выдающегося ума. И он все так представил, будто я делаю ему одолжение, позволив содержать меня, и, по-моему, он

очень славно поступил.

– Чем же ты занимаешься целыми днями?

– Пока особенно ничем. Книги читаю. По архитектуре. У дяди тонны книг по архитектуре. Но когда он здесь, я печатаю ему лекции. Мне кажется, ему не очень нравится, что я это делаю, у него есть настоящая машинистка, но мне это очень нравится, и он мне разрешает. И даже платит мне жалованье. Я не хотела брать, но он настоял.

– Чем же он зарабатывает на жизнь?

– Ой, многим, я даже не знаю, за всем не уследишь. Например, преподает историю искусств. Он что-то вроде профессора.

– Кстати, ты-то когда собираешься в колледж?

– А... Ну... в общем, понимаешь, мне кажется, дядя эту мысль не одобряет. Я ему сказала, что давно уже собиралась продолжить учебу и готова работать и учиться одновременно, но он, похоже, считает, что это не для меня. Он, правда, много на этот счет не говорит, сказал только: «Бог создал слона для тяжелого труда, а комара – чтобы жужжал, а с законами природы экспериментировать, как правило, не рекомендуется. Однако, дитя мое, если тебе так хочется...» Он на самом деле не возражает, я все решаю сама, но только...

– Не позволяй ему мешать тебе.

– Пойми, он и не хочет мешать мне. Только, понимаешь, я и в школе была не бог весть что. И еще, любимый мой, с математикой у меня вообще не ладилось, и поэтому не знаю...

Но с другой стороны, спешить мне некуда. У меня есть время подумать.

– Слушай, Кэти, мне это совсем не нравится. Ты же всегда мечтала поступить в колледж. И если этот твой дядя...

– Не говори о нем так. Ты же его совсем не знаешь. Это совершенно поразительный человек. Он такой добрый, все понимает. И очень интересный, веселый, всегда шутит, да так умело – все, что казалось очень серьезным, в его присутствии оказывается совсем не таким. И при этом он чрезвычайно серьезный человек. Знаешь, он целыми часами говорит со мной, и ему не надоедает, его не раздражает моя глупость. Он мне все рассказывает о забастовках, о жутких условиях жизни в трущобах, о бедняках, которых заставляют трудиться из последних сил, – только о других, и никогда о себе. Один его друг сказал мне, что дядя мог бы стать очень богатым, если бы только захотел, он ведь такой умный. Только он не хочет, деньги его совсем не интересуют.

– Это же ненормально.

– Ты сначала с ним познакомься, а потом говори. Да, и он хочет с тобой познакомиться. Я ему про тебя рассказывала. Он называет тебя Ромео с рейсшиной.

– Ах вот как?

– Да ты пойми! Он же по-доброму. Просто он так выражается. У вас много общего. Возможно, он окажется тебе полезен. Он тоже кое-что понимает в архитектуре. Ты непременно полюбишь дядю Эллсворта.

– Кого-кого?

– Да дядю моего!

– Скажи-ка, – попросил Китинг чуть охрипшим голосом, – как зовут твоего дядю?

– Эллсворт Тухи. А что?

Китинг бессильно уронил руки и ошалело посмотрел на нее.

– Что с тобой, Питер?

Он сглотнул. Кэтрин увидела, как у него судорожно дернулся кадык. Потом он очень решительно сказал:

– Кэти, я не стану знакомиться с твоим дядей.

– Но почему?

– Не хочу. Через тебя – не хочу... Пойми, Кэти, ты же совсем меня не знаешь. Я из тех, кто использует людей в корыстных целях. А *тебя* я использовать не желаю. Никогда. И ты мне не позволяй. Кого угодно, только не тебя.

– Как это – использовать меня? Что это значит? Почему?

– Да все просто. За знакомство с Эллсвортом Тухи я отдал бы все. Вот так. – Он хрипло рассмеялся. – Значит, по-твоему, он кое-что понимает в архитектуре? Дурочка ты! Да он – самая важная персона в архитектуре. Возможно, пока это еще не так, но через пару лет будет так. Спроси у Франкона – эта старая лиса в таких делах не ошибается. Твой дядя скоро станет Наполеоном среди архитектурных критиков, вот увидишь. Во-первых, не так уж много охотников писать о нашей профессии, так что он быстренько сумеет монополи-

зировать этот рынок. Видела бы ты, как все крупные шишки в нашем бюро облизывают каждую запятую в его публикациях! Ты говоришь, что он, может быть, окажется мне полезен? Да он может сделать мне имя, и сделает, и я непременно с ним познакомлюсь, когда буду к этому знакомству готов, так же как познакомился с Франконом. Но только не здесь, только не через тебя. Понимаешь? Не через тебя!

– Но, Питер, почему ты отказываешься?

– Потому что я не хочу так! Потому что это мерзко, потому что я все это ненавижу – свою работу, профессию, ненавижу все, что я делаю, и все, что буду делать! И я не намерен впутывать во все это тебя! Ведь, кроме тебя, у меня ничего *настоящего* в жизни нет! Умоляю тебя, Кэти, не вмешивайся в мои дела!

– В какие дела?

– Не знаю!

Не разжимая его объятий, она встала. Он припал лицом к ее бедру. Она гладила его по голове и смотрела на него сверху вниз.

– Ладно, Питер, мне кажется, я все поняла. Тебе не обязательно встречаться с ним, пока ты не захочешь. Только, когда захочешь, скажи мне. Если надо, можешь меня «использовать». Я не против. От этого ничего не изменится.

Когда он поднял голову, она тихо смеялась.

– Питер, ты перетрудился. У тебя нервы немножко не в порядке. Я заварю чаю, хочешь?

– Ой, я совсем забыл. Я же сегодня не ужинал. Времени не было.

– Надо же! Кошмар какой! Сию же минуту отправляйся на кухню! Сейчас что-нибудь придумаю.

Он вышел от нее через два часа. Он шел, ощущая в себе легкость, чистоту, светясь от счастья, позабыв о своих страхах, позабыв о Тухи и Франконе. Он думал лишь о том, что пообещал ей снова прийти завтра и что до завтра осталось ждать нестерпимо долго. Когда он ушел, она еще долго стояла у дверей, положив руки на дверную ручку, хранившую след его ладони, и думала о том, что он может прийти завтра – а может и через три месяца.

– Когда закончишь, – сказал Генри Камерон, – загляни ко мне в кабинет.

– Хорошо, – сказал Рорк.

Камерон резко развернулся на каблуках и вышел из чертежной. За весь месяц он впервые обратился к Рорку с такой длинной фразой.

Каждое утро Рорк приходил в чертежную, выполнял задания и не слышал ни единого слова, никаких замечаний. Камерон обычно заходил в чертежную и подолгу стоял за спиной Рорка, заглядывая ему через плечо. Создавалось впечатление, что он намеренно старается смутить Рорка, сделать так, чтобы дрогнула его рука, четко выводящая линии на бумаге. Два других чертежника запарывали работу при одной мысли, что такое жуткое видение может появиться у

них за спиной. Рорк же, похоже, не замечал этого. Он продолжал работать, неспешно и уверенно водя рукой, столь же неспешно откладывая притупившийся карандаш и брал другой. «Та-ак», – внезапно бурчал Камерон. Рорк поворачивал голову с вежливым и внимательным видом. «Да?» – спрашивал он. Камерон отворачивался, не сказав ни слова и презрительно прищурившись, словно желая показать, что не считает нужным отвечать, выходил из комнаты. Рорк продолжал работу.

– Плохо дело, – поведал Лумис, молодой чертежник, своему престарелому коллеге Симпсону. – Невзлюбил старик этого парня. И я его хорошо понимаю. Этот здесь долго не протянет.

Симпсон был стар и немощен. Он служил у Камерона еще во времена, когда бюро занимало три этажа, застрял здесь и не мог понять, по какой причине. Лумис же был молод и выглядел совсем как те хулиганы, что собирались обычно на углах возле закуской. Здесь он оказался потому, что со всех прочих мест его выгнали.

Они оба недолюбливали Рорка. Да и всюду, куда бы Рорк ни пошел, при первом же взгляде на его лицо окружающие обычно начинали испытывать к нему неприязнь. Лицо его было непроницаемо, как дверь банковского сейфа. В сейфе хранят только ценные вещи, но люди не желали задумываться над этим. От его присутствия в комнате тянуло холодком, и это раздражало многих. Было в нем и еще одно странное

свойство – он внушал окружающим такое чувство, будто он здесь и в то же время не здесь. Или, возможно, он здесь, а вот их самих нет.

После работы он отмеривал пешком весь неблизкий путь домой – в доходный дом на Ист-Ривер. Он выбрал это жилье потому, что всего за два пятьдесят в неделю в его распоряжение предоставлялся весь верхний этаж – колоссальных размеров помещение, которое раньше использовалось под склад. В нем не было потолка, а крыша протекала. Но зато здесь по обе стороны тянулись два ряда окон, где в некоторых рамах даже сохранились стекла, а другие были сделаны картонными листами. С одной стороны из этих окон открывался вид на реку, а с другой – на город.

Неделю назад Камерон заглянул в чертежную и швырнул на стол Рорка размашистый набросок с изображением загородного дома.

– Посмотрим, сумеешь ли ты из этого сделать настоящий дом! – рявкнул он и ушел, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. В последующие дни он не приближался к столу Рорка. Вчера вечером Рорк закончил чертежи и оставил их на столе Камерона. Утром Камерон зашел, кинул Рорку эскиз каких-то стальных перекрытий, приказал ему потом зайти в кабинет и больше в течение всего дня в чертежной не появлялся.

Остальные ушли домой. Прикрыв стол старой клеенкой, Рорк вошел в кабинет Камерона. На столе у того были раз-

ложены Рорковы чертежи загородного дома. Свет лампы падал на щеку Камерона, на бороду, в которой белели седые волосы, на его кулак, на угол чертежа, четкие линии которого словно впечатались в бумагу.

– Ты уволен, – сказал Камерон.

Рорк стоял посреди вытянутой комнаты, перенеся всю тяжесть тела на одну ногу, свесив руки по бокам, приподняв одно плечо.

– Да? – тихо спросил он, не шелохнувшись.

– Иди сюда, – сказал Камерон. – Садись.

Рорк подчинился.

– Ты слишком хорош, – сказал Камерон. – Слишком хорош для той судьбы, которую сам себе готовишь. Бессмысленно, Рорк. Лучше понять это сейчас, чем потом, когда будет поздно.

– Что вы хотите сказать?

– Бессмысленно тратить отпущенные тебе годы на идеал, которого ты никогда не достигнешь, которого тебе просто не дадут достичь. Бессмысленно превращать свой талант в дыбу, на которой сам же и будешь распят. Продай его, Рорк. Продай сейчас. Конечно, это будет уже не то, но все же тебя на это хватит. У тебя есть то, за что будут платить, и много платить, если ты будешь использовать свой талант так, как они пожелают. Не отвергай их, Рорк. Иди на компромисс. Иди немедленно – потом все равно придется согласиться на компромисс, только тогда тебе придется пройти через такое,

о чем потом придется горько сожалеть. Ты этого не знаешь. А я знаю. Избавь себя от этого. Уходи от меня. Уходи к кому-нибудь другому.

– А вы разве так поступили?

– Ты нахальный выродок! Я сказал, что ты хорош, но не более того! С кем ты себя равнять вздумал? С самим... – Он резко замолчал, так как увидел, что Рорк улыбается. Он посмотрел на Рорка и вдруг улыбнулся в ответ. Ничего более мучительного Рорку еще не доводилось видеть. – Нет, – сказал Камерон, – что-то я не то говорю, да? Совсем не то... В общем, ты прав. Ты верно себя оцениваешь. Но я хочу сказать тебе кое-что. Даже не знаю, с чего начать. Я утратил навык общаться с такими людьми, как ты. Утратил? Скорее всего, никогда не имел. Возможно, именно это меня сейчас и пугает. Постарайся понять, пожалуйста.

– Я все понимаю. Не тратьте времени впустую.

– А ты не груби. Потому что сейчас я не могу позволить себе грубить тебе. Я хочу, чтобы ты выслушал меня. Ты можешь выслушать и не перебивать?

– Да. Простите. Я не хотел быть невежливым.

– Понимаешь, я последний человек из всех, к кому тебе стоило обратиться. Если я оставлю тебя здесь, я совершу преступление. Жаль, что никто не предостерег тебя от меня. Я совсем не смогу тебе помочь. Я не сумею сбить с тебя кураж. Не сумею привить тебе здравый смысл. Вместо этого я буду подталкивать тебя, тащить тем же путем, каким ты

идешь сейчас. Я силой заставлю тебя оставаться таким, какой ты есть, и сделаю тебя еще хуже... Пойми же. Через месяц я уже не смогу расстаться с тобой. Даже не уверен, что смогу сейчас. Так что не спорь со мной и уходи. Спасайся, пока не поздно.

– Но как? Вам не кажется, что нам обоим уже поздно спастись? Мне и двенадцать лет назад было поздно.

– Попытайся, Рорк. Попытайся хоть раз проявить благоразумие. Есть много крупных фирм, которые возьмут тебя и не посмотрят на то, что тебя исключили из института, если я их попрошу. Они могут потешаться надо мной в своих речах на званых обедах, но, когда им надо, беззастенчиво крадут у меня и прекрасно знают, что я сумею разобраться, хорош чертежник или плох. Я дам тебе письмо к Гаю Франкону. Когда-то давным-давно он у меня работал. Кажется, я его уволил, но это не имеет значения. Иди к нему. Поначалу тебе там не понравится, но ты привыкнешь. А через много лет будешь меня благодарить.

– Зачем вы мне все это говорите? Вы же хотите сказать совсем другое. И сами вы шли совсем другим путем.

– Потому я это и говорю! Именно потому, что сам шел другим путем!.. Понимаешь, Рорк, есть у тебя одна черта, которая меня очень пугает. Тут дело не в том, что выходит из-под твоего карандаша. Меня бы не тревожило, если бы ты был просто одаренным пижоном, который все делает не так, как другие, просто для смеха, для забавы, для того, наконец,

чтобы на него обратили внимание. Это ловкий ход – одновременно и противостоять толпе, и забавлять ее, потихоньку собирая денежки за вход на персональную выставку. Если бы дело обстояло так, я бы не беспокоился. Но все не так. Ты *влюблен* в свое ремесло. Господь тебя спаси, ты *влюблен*. А это проклятье. Это клеймо на лбу, выставленное на всеобщее обозрение. Ты не можешь жить без своей работы, и они об этом знают, и еще знают, что тут-то ты и попался! Ты когда-нибудь приглядывался к людям на улице? Я приглядывался. Они проходят мимо тебя, все в шляпах, со свертками... Но не в этом их суть. А суть их в том, что они *ненавидят* каждого, кто влюблен в свое ремесло. Более того, они их боятся, уж не знаю почему. Ты им подставляешься, Рорк, всем и каждому!

– Но я никогда не вижу людей на улице.

– А что они со мной сделали, ты видишь?

– Я вижу только, что вы их не боитесь. Почему же вы хотите, чтобы я их боялся?

– Почему? – Камерон подался вперед, сжав кулаки: – Рорк, хочешь, чтобы я произнес это вслух? Ты ведь жесток, да, Рорк? Ладно же, я произнесу: ты хочешь закончить так, как заканчиваю я? Ты хочешь быть тем, чем стал я?

Рорк поднялся и шагнул вперед, к самому столу.

– Если, – сказал Рорк, – в конце жизни я стану тем, кем вы являетесь здесь и сейчас, я буду считать это честью, которой я не заслужил и не мог бы заслужить ни при каких обстоя-

тельстввах.

– Да сядь ты! – рявкнул Камерон. – Терпеть не могу, когда выставляют напоказ свои чувства!

Рорк посмотрел на себя, на стол, крайне удивленный тем, что оказался на ногах. Он сказал:

– Простите. Я даже не заметил, что встал.

– Ну так садись и слушай. Я все понимаю. И это очень мило с твоей стороны. Но ты так ничего и не понял. Мне казалось, что нескольких дней работы в этой дыре хватит, чтобы выбить из твоей башки поклонение героям. Но теперь вижу, что этого оказалось недостаточно. Вот ты теперь сам себе внушаешь, какой великий человек старик Камерон, благородный боец, мученик за безнадежно проигранное дело, и ты уже готов умереть со мной на баррикадах и питаться со мной в грошовых забегаловках до конца дней своих. Я знаю, сейчас все это кажется тебе таким чистым и прекрасным с высоты твоей умудренности жизнью в двадцать два года. Но знаешь ли ты, что это такое на самом деле? Тридцать лет сплошных поражений. Звучит великолепно, не так ли? Но известно ли тебе, сколько дней в тридцати годах? Известно, как проходят эти дни? Известно?

– Вам же больно об этом говорить.

– Да! Больно! Но я буду говорить. Я хочу, чтобы ты выслушал, чтобы ты понял, что тебя ожидает. Придут дни, когда ты согласишься на свои руки, и тебе захочется взять что-нибудь тяжелое и переломать в них каждую косточку, потому

что ты будешь терзаться мыслью о том, что могли бы сотворить эти руки, если бы ты изыскал для них такую возможность. Но тебе не удастся найти ни малейшей возможности, и ты возненавидишь собственное тело, потому что оно осталось безруким. Придут дни, когда водитель начнет орать на тебя, едва ты войдешь в автобус. Он всего лишь потребует десять центов за проезд, но ты услышишь совсем другое. Ты услышишь, что ты ничтожество, что ты смешон, что это у тебя на лбу написано и все ненавидят тебя за эту никчемность. Придут дни, когда ты будешь стоять в уголке зала и слушать рассуждения какого-то кретина об архитектуре, о деле, которое ты до безумия любишь, и сказанное им заставит тебя надеяться, что кто-нибудь сейчас встанет и раздавит его, как вонючего клопа. А потом ты услышишь, как все бешено рупкоплещут ему, и тебе захочется взвыть, потому что непонятно, кто же настоящий – ты или они. То ли тебя засунули в каморку, полную разбитых черепов, то ли, наоборот, кто-то только что вышиб мозги из твоей головы. И ты ничего не скажешь, ибо те звуки, которые ты будешь в состоянии издать, в этом зале уже не считаются человеческим языком. Но если ты и захочешь говорить, то все равно не сможешь, тебя небрежно оттолкнут – ведь тебе совершенно нечего сказать им об архитектуре. Этого тебе хочется?

Рорк сидел неподвижно, на лице его резко пролегли тени, на впалой щеке отпечатался темный клин, длинный черный треугольник перерезал подбородок. Он не сводил глаз с Ка-

мерона.

– Тебе мало? – спросил Камерон. – Ладно, поехали дальше! Однажды ты увидишь перед собой на листе ватмана дом, перед которым тебе захочется упасть на колени. Ты не поверишь, что его создал ты сам. Потом ты решишь, что мир прекрасен, и в воздухе пахнет весной, и ты любишь всех людей, потому что в мире больше нет зла. И ты выйдешь из квартиры с этим чертежом, чтобы построить этот дом, поскольку тебе совершенно ясно, что такой дом захочется возвести каждому, кто взглянет на твой чертеж. Но далеко от квартиры ты не уйдешь. Ведь у дверей тебя остановит газовщик, который пришел отключить газ. Ты ел немного, так как экономил деньги, чтобы закончить проект, но все же иногда надо было что-то сготовить, а за газ ты не заплатил... Ну ладно, это мелочи, над этим можешь посмеяться. Но вот ты со своим чертежом попадаешь в чей-нибудь кабинет, ругая себя за то, что вытесняешь своим телом воздух, принадлежащий другому, и ты постараться ужаться до невидимости, чтобы другой тебя не видел, а только слышал твой голос, умоляющий его, просительный голос, лижущий ему пятки. Ты будешь проклинать себя за это, но это будет неважно, только бы он дал тебе построить этот дом. Ты готов будешь распороть себе брюхо – ведь когда он увидит, что там, в этом брюхе, то уже не сможет отказать тебе. Но он лишь скажет, что ему очень жаль, но подряд только что отдан Гаю Франкону. И ты пойдешь домой, и знаешь, что ты будешь делать дома?

Ты будешь плакать. Плакать, как женщина, как алкоголик, как животное. Вот какое тебя ждет будущее, Говард Рорк. Хочешь его?

– Да, – сказал Рорк.

Камерон опустил глаза. Немного опустил голову, потом еще немного. Голова его опускалась медленно, рывками, и наконец остановилась. Он сидел неподвижно, сгорбив плечи, упираясь локтями в колени.

– Говард, – прошептал Камерон. – Такого я никому еще не говорил...

– Спасибо вам... – сказал Рорк.

После долгой паузы Камерон поднял голову.

– Теперь иди домой, – сказал он решительно. – Ты слишком много работал в последнее время. А впереди у тебя тяжелый день. – Он показал на чертежи загородного дома: – Все это замечательно. Мне просто хотелось взглянуть, на что ты способен. Только строить еще нельзя, плоховато будет. Так что придется все переделать. Завтра я тебе покажу, что мне нужно.

V

За год работы в фирме Франкона и Хейера Китинг приобрел статус кронпринца. Громко об этом не говорили, но перешептывались. Оставаясь всего лишь чертежником, он стал всевластным фаворитом Франкона, и тот постоянно брал его с собой обедать. Подобной привилегии еще не удаивался ни один из служащих. Франкон вызывал его на все беседы с заказчиками, которым, видимо, приятно было увидеть столь декоративного молодого человека в архитектурном бюро.

У Лусиуса Н. Хейера была неприятная привычка ни с того ни с сего спрашивать Франкона: «Как давно у вас этот новичок?», показывая при этом на служащего, проработавшего здесь уже три года. Но, к всеобщему удивлению, Хейер запомнил Китинга по имени и при каждой встрече улыбался ему, всем своим видом показывая, что узнал его. В один ненастный ноябрьский день Китинг долго и обстоятельно беседовал с ним о старом фарфоре. Это было хобби Хейера; он владел прославленной коллекцией, которую собирал с истинной страстью. Китинг проявил неплохое знание предмета, хотя впервые услышал о старом фарфоре лишь накануне вечером, после чего тут же отправился в публичную библиотеку. Хейер был в восторге; никто во всем бюро не проявлял к его увлечению ни малейшего интереса; мало кто вообще замечал его присутствие. В беседе с партнером Хейер

не преминул заметить:

– Ты очень неплохо подбираешь людей, Гай. Этот паренек... как бишь его?.. Китинг – просто клад.

– О да, – улыбаясь, ответил Франкон. – О да.

В чертежной Китинг сосредоточил все усилия на Тиме Дейвисе. Сама по себе работа, готовые чертежи, были неизбежными, но несущественными деталями в трудовой жизни Китинга. Сутью же ее на этом начальном этапе профессиональной карьеры стал Тим Дейвис.

Большую часть собственной работы Дейвис теперь поручал ему. Поначалу это касалось лишь сверхурочной работы, потом и некоторой части дневных заданий. Вначале это делалось тайком, потом открыто. Дейвис не хотел, чтобы об этом знали; Китинг устроил так, что об этом узнали все, приняв при этом наивно-доверительный тон, как бы подразумевая, что сам он, Китинг, не более чем инструмент, наподобие карандаша или рейсшины в руках Тима, а его помощь никак не умаляет, но лишь подчеркивает высочайшее мастерство Тима. Именно поэтому он, Китинг, и не считает нужным скрывать этот факт.

Сначала Дейвис передавал свои задания Китингу; затем старший чертежник стал принимать такое положение вещей как само собой разумеющееся и начал приходить к Китингу напрямую с поручениями, предназначенными для Дейвиса. Китинг был всегда готов, всегда с улыбкой говорил: «Я все сделаю. Не приставайте к Тиму с такими мелочами. Я справ-

люсь сам». Дейвис успокоился и пустил дело на самотек. Он беспрестанно выходил покурить, слонялся без дела по чертежной или сидел на табуретке, праздно закинув ногу за ногу, прикрыв глаза и грезя об Элен. Лишь изредка он лениво осведомлялся: «Ну что, Пит, готово?»

Весной Дейвис женился на Элен. Он стал часто опаздывать на работу и завел обыкновение шептать на ухо Китингу:

– Слушай, Пит, ты ведь со стариком в дружбе. Замолви за меня словечко, ладно, чтобы не особо ко мне придирался? Господи, ну что за наказание – работать в такое время!

А Китинг говорил Франкону:

– Простите, мистер Франкон, что мы запоздали с чертежами подвального этажа для дома Мюрреев, но, понимаете, вчера Тим Дейвис повздорил с женой, а вы ведь представляете себе, что такое новобрачные, так что, пожалуйста, не судите их строго. – Или: – Это опять из-за Тима, мистер Франкон, простите его, пожалуйста, он ничего поделывать не может. Ему сейчас не до работы!

Когда Франкон заглянул в платежную ведомость своего бюро, он обратил внимание, что самый высокооплачиваемый чертежник одновременно и самый бесполезный.

Когда Тима Дейвиса уволили, никто в бюро не удивился, кроме самого Тима Дейвиса. Он ничего не мог понять и ожесточился на весь мир до конца дней своих. Еще он почувствовал, что в целом свете у него есть только один друг – Питер Китинг.

Китинг утешал его, проклинал Франкона, проклинал людскую несправедливость, потратил шесть долларов, угощая в ресторанчике знакомую секретаршу плохонького архитектора, и нашел новое место для Тима Дейвиса.

После этого он всякий раз вспоминал о Дейвисе с теплым и приятным чувством. Он *изменил* судьбу человека, вышвырнул его с одной тропы и запихнул на другую; человека, который для Китинга был уже не Тимом Дейвисом, а лишь абстрактным телом, наделенным сознанием. Почему он всегда так боялся этого непостижимого явления – сознания, которым наделены другие? Ведь ему, Китингу, удалось направить чужое тело и чужое сознание по иному пути, согласно его, Китинга, воле.

По единодушному решению Франкона, Хейера и старшего чертежника место Дейвиса, вместе с рабочим столом и жалованьем, было передано Питеру Китингу. Но не только это радовало Китинга, более сильное – и более опасное – удовлетворение доставляло ему другое ощущение. Он часто и весело повторял: «Тим Дейвис? Ах да, это тот, которому я нашел новое место».

Он написал об этом матери. Она заявила подругам: «Мой Пит такой бескорыстный мальчик».

Он послушно писал ей каждую неделю. Письма его были короткими и почтительными. От нее же он получал письма длинные, подробные, полные разных советов. Он редко дочитывал их до конца.

Иногда он заглядывал к Кэтрин Хейлси. После того памятного вечера он не сдержал обещания прийти на другой день. Утром он проснулся, вспомнил все, что говорил ей, и возненавидел *ее* за то, что сказал ей такое. Но через неделю он вновь пришел к ней. Она не стала упрекать его, и они ни словом не обмолвились о ее дяде. После этого он встречался с ней раз в месяц или в два. Он был счастлив видеть ее, но никогда не заговаривал с ней о работе.

Он попробовал поговорить об этом с Говардом Рорком, но попытка не увенчалась успехом. Он дважды заходил к Рорку, с остервенением преодолевая пять лестничных маршей до его комнаты. Он радовался встрече с Говардом, ожидая получить у него поддержку. Питер и сам не понимал, какого рода поддержку он хочет получить и почему ее надо искать именно у Рорка. Он рассказывал о своей работе и с искренней заинтересованностью расспрашивал Рорка о бюро Генри Камерона. Говард выслушивал его, охотно отвечал на все вопросы, но при этом у Китинга возникало ощущение, будто все его слова разбиваются о стальной щит в сосредоточенном взгляде Рорка и будто они говорят о совершенно разных вещах. Во время бесед Китинг замечал обтрепанные манжеты Рорка, его стоптанные ботинки, заплатку на колене – и испытывал большое удовлетворение. Уходил он посмеиваясь, но одновременно ощущал себя как-то очень неуютно. Он не понимал, откуда бралось это неприятное ощущение, и клялся сам себе, что ноги его больше у Рорка не будет, и недоуме-

вал – отчего же он ничуть не сомневается, что придет сюда еще не раз?

– Ну знаешь, – сказал Китинг, – у меня пороку не хватит так сразу пригласить ее на обед, но послезавтра она идет со мной на выставку Моусона. А дальше-то что?

Он сидел на полу, опираясь головой на край дивана и вытянув перед собой босые ноги. На нем свободно болталась пижама цвета ликера «Шартрез», принадлежавшая Гаю Франкону.

Через распахнутую дверь ванной он видел Франкона, который стоял возле раковины, упираясь животом в ее сверкающий край. Франкон чистил зубы.

– Прекрасно, – сказал Франкон. Рот его был полон пасты. – Так будет ничуть не хуже. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду?

– Нет.

– Господи, Пит, я же тебе вчера объяснил, еще до того, как все началось. Муж миссис Данлоп хочет построить для нее дом.

– Ах да, – слабым голосом ответил Китинг, убирая с лица слипшиеся черные кудри. – Теперь вспомнил... Боже мой, Гай, как трещит голова!..

Он смутно припомнил званый ужин, на который Франкон привел его вчера вечером. Припомнил замороженную черную икру, которую подавали в глыбе льда, припомнил сим-

патичное лицо миссис Данлоп и ее черное вечернее платье из тюля, но так и не мог вспомнить, каким же образом он очутился здесь, в квартире Франкона. Он пожал плечами – в последний год он нередко бывал на разных приемах вместе с Франконом, и частенько его приносили сюда в беспамятстве.

– Это не очень большой дом, – говорил Франкон, засунув в рот зубную щетку. От этого на одной его щеке образовалась выпуклость, а изо рта торчала зеленая ручка щетки. – Тысяч примерно на пятьдесят. Мелочовка, да и сами Данлопы тоже. Но у миссис Данлоп есть сестра, которая замужем за самим Квимби... тем самым крупнейшим торговцем недвижимостью. Так что вовсе не повредит заполучить подходец к этому семейству. И тебе, Пит, я поручаю разузнать, что еще можно выжать из этого заказа. Могу я на тебя рассчитывать?

– Конечно, – сказал Китинг, опустив голову. – Ты можешь на меня рассчитывать во всем, Гай...

Он сидел неподвижно, разглядывая пальцы босых ног, и думал о Штенгеле, проектировщике Франкона. Он не хотел о нем думать, но мысли его автоматически возвращались к Штенгелю. И так было уже несколько месяцев – ведь Штенгель воплощал собой вторую ступеньку его карьеры.

Для дружеских отношений Штенгель был недостижим. Два года все попытки Китинга ломались об лед его очков. Мнение Штенгеля о нем шепотом пересказывалось в бюро, но немногие решались произнести его вслух, разве что предварительно расставив кавычки. Штенгель же высказывался

открыто, хотя прекрасно знал, что все исправления, с которыми его эскизы возвращались от Франкона, сделаны рукой Китинга. Но у Штенгеля было одно уязвимое место: он давно уже подумывал уйти от Франкона и открыть собственное бюро. Он уже подыскал себе партнера, молодого архитектора, совершенно бездарного, но унаследовавшего крупное состояние. Штенгель лишь дожидался благоприятной возможности. Китинг очень много размышлял над этим. Он просто не мог думать ни о чем другом. И теперь, сидя на полу в спальне Франкона, он тоже думал об этом.

Через два дня, сопровождая миссис Данлоп по галерее, где экспонировались картины некоего Фредерика Моусона, он окончательно определился с планом действий. Китинг вел миссис Данлоп через жиденькую толпу, иногда брал ее под локоток, позволяя ей уловить его взгляд, чаще направленный на ее молодое лицо, чем на картины.

– Да, – сказал он, когда она послушно разглядывала пейзаж, изображающий автомобильную свалку, и старалась придать лицу выражение надлежащего восторга. – Замечательное произведение. Обратите внимание на цвета, миссис Данлоп... Говорят, этому Моусону крепко досталось в жизни. Обычная история – борьба за признание и все такое. Старо как мир, но очень трогательно. Так происходит в любом искусстве. Включая и мою профессию.

– Ах, неужели? – сказала миссис Данлоп. Судя по выражению ее лица, в этот момент она явно предпочитала архи-

тектуру всем прочим искусствам.

– А вот здесь, – сказал Китинг, остановившись перед изображением старой карги, которая сидела на обочине дороги и, разувшись, ковыряла пальцы ног, – здесь искусство выступает в роли социально-критического документа. Восприятие такого искусства требует смелости.

– Какая великолепная картина! – вставила миссис Данлоп.

– Да-да, именно смелости. Это редкое качество... Говорят, что Моусон умирал от голода на своем чердаке, когда миссис Стювесант открыла его. Помочь становлению молодого таланта – это так благородно!

– Да, это возвышает, – согласилась миссис Данлоп.

– Если бы я был богат, – мечтательно проговорил Китинг, – то у меня было бы такое хобби. Я устраивал бы выставки молодых художников, финансировал концерты молодых пианистов, заказал бы постройку дома начинающему архитектору...

– А знаете, мистер Китинг, ведь мы с мужем собираемся построить небольшой домик на Лонг-Айленде.

– Да что вы говорите? Миссис Данлоп, вы так мило доверили мне эту новость. Вы еще так молоды, извините за такие слова. Вы не боитесь, что я начну докучать вам, стараясь заинтересовать вас моей фирмой? Или избавили себя от такой напасти, уже подыскав архитектора?

– Отнюдь не избавила, – любезно отвечала миссис Данлоп. – И, честно говоря, вовсе не боюсь такой напасти. За

последние дни я много думала о фирме «Франкон и Хейер». Я слышала о них столько хорошего!

– О, вы так любезны, миссис Данлоп.

– Мистер Франкон – великий архитектор.

– О да!

– А что такое?

– Нет, ничего. Решительно ничего.

– Вы все же скажите.

– Вы действительно хотите это услышать?

– Да, разумеется.

– Видите ли, Гай Франкон – это просто громкое имя. Он сам вообще не будет заниматься вашим домом. Это один из профессиональных секретов, который мне не следовало бы разглашать, но в вас есть нечто такое, что заставляет меня быть с вами откровенным. Все лучшие дома, созданные в нашей фирме, спроектировал мистер Штенгель.

– Кто?

– Клод Штенгель. Вы не слышали этого имени, но непременно услышите, если у кого-нибудь хватит смелости открыть его. Понимаете, всю работу делает он, он и есть настоящий, хоть и незаметный, талант, но Франкон ставит свою подпись и стяжает все лавры. Так делается повсюду.

– Но почему мистер Штенгель терпит такое?

– А что ему остается делать? Никто не хочет предоставить ему возможность работать самостоятельно. Вы же знаете, как устроены большинство людей – все хотят идти прото-

ренными путями и готовы заплатить втридорога за тот же товар, лишь бы на нем стояло клеймо известной фирмы. Смелости им не хватает, миссис Данлоп, смелости. Штенгель великий мастер, но очень немногим дано это понять. Он готов открыть собственное дело, если только найдется выдающаяся личность вроде миссис Стювесант, которая предоставит ему такой шанс.

– Надо же! – воскликнула миссис Данлоп. – Как интересно! Расскажите-ка поподробнее.

И он рассказал. К тому времени, как они закончили осмотр творений Фредерика Моусона, миссис Данлоп уже трясла его руку и говорила:

– Так любезно, так изумительно мило с вашей стороны! Вы уверены, что не попадете в неловкое положение перед вашей фирмой, если устроите мне встречу с мистером Штенгелем? Я сама все как-то не осмеливалась это предложить, а вы так добры, что, надеюсь, не рассердитесь на меня за это, ведь правда? Вы проявили такое бескорыстие, на которое никто на вашем месте не отважился бы.

Когда Китинг подошел к Штенгелю с приглашением отобедать с миссис Данлоп, тот выслушал его, не проронив ни слова. Затем он резко тряхнул головой и столь же резко спросил:

– А ты-то с этого что будешь иметь?

Китинг не успел ответить. Штенгель внезапно выпрямился.

– Ага, – сказал он. – Все ясно. – Он снова наклонился, скривив губы в презрительной усмешке. – Хорошо. Я приду на этот обед.

Когда Штенгель уволился от Франкона и Хейера, открыл собственное бюро и, тут же получив свой первый заказ от Данлопов, приступил к проектировке их дома, Гай Франкон сломал линейку о край стола и заорал, повернувшись к Китингу:

– Какой негодяй! Какой гнусный негодяй! После всего, что я для него сделал!

– Чего же ты хочешь? – спросил Китинг, развалившись в низком кресле. – Такова жизнь.

– Вот чего я никак в толк не возьму – как этот вонючка пронюхал о заказе? Ведь прямо из-под носа у нас увел!

– Я никогда ему особенно не доверял. – Китинг пожал плечами. – Натура человеческая...

В голосе Китинга звучала неподдельная обида. Ведь он так и не дождался благодарности от Штенгеля. На прощание тот лишь бросил ему: «А ты еще больший мерзавец, чем мне казалось. Что ж, будь счастлив! Из тебя получится великий архитектор».

Так Китинг получил место главного проектировщика у Франкона и Хейера.

Франкон отметил это событие небольшой скромной оргией в одном из уютных дорогих ресторанов.

– Через пару лет, – все твердил он, – через пару лет мы

такое закрутим, Пит... Ты славный парень, и я тебя люблю, и я для тебя готов на все... Разве я тебе не помогал?.. Ты еще такое увидишь... через пару лет...

– Гай, у тебя галстук съехал набок, – сухо заметил Китинг. – И не поливай коньяком жилетку...

Получив первое задание по разработке проекта, Китинг вспомнил о Тиме Дейвисе, о Штенгеле, о других, которые к этому стремились, боролись, старались – и ничего у них не получилось. Ибо всех победил он, Питер Китинг. Его переполняло чувство торжества – ведь он получил осязаемое доказательство собственного величия. И тут он заметил, что сидит в своем кабинете со стеклянными стенками совсем один и смотрит на чистый лист бумаги. Совсем один. Что-то прокатилось из горла в желудок, холодное, пустое. Это было знакомое ощущение полета в пропасть. Он облокотился о стол и прикрыл глаза. До этого момента ему как-то не вполне верилось, что от него действительно ждут, чтобы он на этом листе бумаги что-то изобразил... что-то создал.

Собственно, требовалось создать совсем небольшой коттедж. Но дом никак не вырастал перед его мысленным взором. Более того, очертания будущего строения предстали перед ним в виде глубокой ямы в земле. И такую же яму он почувствовал в себе самом – пустоту, в которой только бессмысленно трещали о чем-то Штенгель и Дейвис... Об этом доме Франкон сказал ему: «В нем должно быть благородство, понимаешь, благородство... никаких выкрутасов... строгая

гармония... И не вылезай из сметы». Это, по представлениям Франкона, и означало «дать проектировщику общую концепцию и предоставить ему возможность самостоятельно проработать детали». В холодном оцепенении Китинг представил себе, как клиенты смеются ему в лицо; он услышал тихий, но полный силы голос Эллсворта Тухи, призывающий его обратить внимание на великолепные возможности, открывающиеся в области сантехники. Все сооружения, возведенные человеком на земле, стали ему ненавистны. Он ненавидел сам себя за то, что избрал профессию архитектора.

Начав рисовать, он старался не думать о том, что делает. Он думал только о том, что ведь это делали и Франкон, и Штенгель, и даже Хейер, и другие тоже, и если уж у них получалось, то непременно получится и у него.

Он потратил много дней на предварительные эскизы. Часами он не вылезал из служебной библиотеки, выбирая внешний облик дома из множества фотографий памятников античной архитектуры. Он чувствовал, как в мозгу его тает напряжение. Дом, который начинал у него получаться, – это правильный дом, хороший дом. Ведь люди не перестали поклоняться древним мастерам, строившим подобные дома много веков назад. Не надо сомневаться, бояться, не надо рисковать. За него все уже сделали другие.

Когда эскизы были готовы, он долго стоял над ними и смотрел на них в полной растерянности. Если бы ему сказали, что это самый лучший дом в мире или что здания урод-

ливее еще не существовало на земле, он охотно согласился бы и с тем и с другим. Он не знал наверняка. А надо было знать. Он вспомнил о Стентоне, о том, что делал в те годы, работая над сходными заданиями. И тут же позвонил в бюро Камерона и попросил позвать Говарда Рорка.

Вечером он пришел в комнату Рорка и разложил перед ним планы, проекции, объемные изображения первого своего здания.

Рорк постоял над ними, широко расставив руки и держась пальцами за край стола. Долгое время он молчал.

Китинг тревожно ждал и чувствовал, как вместе с тревогой в нем нарастает гнев – из-за того, что он никак не мог понять причину своей тревоги. Когда он больше не мог этого вынести, он заговорил:

– Понимаешь, Говард, все говорят, что Штенгель – лучший проектировщик в городе, и, по-моему, он еще не собирался уходить от нас. Но я устроил так, что он уволился, а сам занял его место. Мне пришлось над этим здорово пошевелить мозгами, и я...

Он остановился. Его слова звучали отнюдь не гордо и весело, как звучали бы в любом другом месте. Они звучали как слова нищего попрошайки.

Рорк повернулся и посмотрел на него. В этом взгляде не было презрения. Глаза Рорка были лишь приоткрыты шире обычного, внимательные и озадаченные. Рорк ничего не сказал и вновь склонился над эскизами.

Китинг почувствовал себя голым и беззащитным. Здесь ничего не значили имена Дейвиса, Штенгеля, Франкона. От людей Китинга защищали только люди, Рорк же совсем не ощущал людей. *От других Китинг получал ощущение собственной значимости. От Рорка он не получал ничего.* У него мелькнула мысль, что надо бы схватить эскизы и бежать отсюда. Опасность исходила не от Рорка. Опасность заключалась в том, что он, Китинг, остается здесь.

Рорк повернулся к нему:

– Питер, тебе нравится заниматься такими вещами?

– Я знаю, – почти истерично отозвался Китинг, – я знаю, что ты такого не одобряешь. Но это бизнес. Я только хотел спросить, что ты думаешь об этом с *практической* точки зрения. Не с философской, не...

– Не беспокойся. Я не собираюсь читать тебе проповедей. Просто интересно стало.

– Если бы ты только согласился помочь мне, Говард, чуть-чуть помочь... Это ведь мой первый дом, он так много для меня значит, и для моей работы тоже... а я все как-то сомневаюсь. А тебе как кажется? Так ты поможешь мне, Говард?

– Хорошо.

Рорк отбросил в сторону эскиз красивого фасада с рифлеными пилястрами³², ломаными фронтонами, ликторскими

³² *Пилястры* (ит. pilastro от лат. pila – столб) – вертикальные плоские выступы прямоугольного сечения на стене или столбе. Пилястра имеет те же части и пропорции, что и колонна (ствол, капитель, база); служит для членения плоскости стены.

пучками прутьев³³ и двумя имперскими орлами у портика. Он взял чертеж и, положив поверх него лист кальки, принялся чертить. Китинг стоял, наблюдая за карандашом в руках Рорка. Он увидел, как исчезают внушительный вестибюль, кривые коридоры, неосвещенные углы. Он увидел, как в объеме, который сам он посчитал недостаточным, вырастает огромная гостиная, появляется стена, состоящая из гигантских окон, выходящих в сад, просторная кухня. Смотрел он долго.

– А фасад? – спросил он, когда Рорк отбросил карандаш.

– с ним я тебе помочь не могу. Если обязательно нужна классика, пусть будет классика, только хорошая. Не нужны три пилястры там, где хватит одной. И убери с портика этих уток – это уж чересчур.

Уходя, Китинг благодарно улыбнулся ему. Держа папку под мышкой, он спускался по лестнице, исполненный обиды и злости.

Три дня он трудился, изготавливая чертежи по эскизам Рорка и новые, упрощенные проекции. Свой дом он представил Франкону гордым, несколько витиеватым жестом.

– М-да, – сказал Франкон, изучая чертежи. – М-да, доложу я вам!.. Ну и воображение у тебя, Питер... Несколько смеловато, пожалуй, но все-таки... – Кашлянув, он доба-

³³ ...ликторские пучки прутьев... – Ликторы – в Древнем Риме служители, сопровождавшие и охранявшие высших магистратов. Отличительными знаками ликторов были фасции (пучки прутьев) и топирики.

вил: – Это именно то, что я имел в виду.

– Разумеется, – ответил Китинг. – Я изучил твои дома и постарался представить себе, что бы ты сделал на моем месте. Если получилось неплохо, так только потому, что я научился понимать твои замыслы.

Франкон улыбнулся, и Китинг вдруг понял, что Франкон не верит ни одному его слову и прекрасно знает, что и Китинг ничему этому не верит. И все же оба были очень довольны. Общий метод и общая ложь еще больше сплотили их.

Письмо, лежащее на столе у Камерона, с искренним сожалением извещало его, что совет директоров Трастовой компании ценных бумаг после тщательного рассмотрения вынужден был отклонить его проект здания для нового филиала вышеозначенной компании в городе Астория³⁴ и что заказ передан фирме «Гулд и Петтингилл». К письму был приложен чек на заранее оговоренную сумму в уплату за затраченные усилия. Эта сумма не покрывала даже расходов на материалы, пошедшие на подготовку проекта.

Развернутое письмо лежало на столе. Камерон сидел у стола, отодвинувшись подальше, не притрагиваясь к нему, плотно сжав ладонь, лежащую на коленях, напряженными пальцами другой руки. Это был всего-навсего листок бумаги, но Камерону казалось, будто от этого листка, как от радия,

³⁴ Астория – город в штате Орегон, на побережье Тихого океана.

исходят невидимые лучи, которые поразят его, если он только пошевелится. И он сидел, съежившись, в полной неподвижности.

Он ждал заказа от этой компании три месяца. За последние два года те немногие предложения, которые изредка еще делались ему, исчезали одно за другим, начинаясь туманными обещаниями и оканчиваясь однозначным отказом. Давно пришлось расстаться с одним из чертежников. Домовладелец приставал с вопросами – сначала вежливо, потом сухо и, наконец, грубо и без всякого стеснения. Но никого в бюро не раздражали ни выходки домовладельца, ни задержки жалованья: ведь у них была надежда на заказ от Трастовой компании. Вице-президент компании, предложивший Камерону выдвинуть свой проект, заявил: «Я знаю, что в совете директоров не все разделяют мое мнение. Но дерзайте, мистер Камерон. Доверьтесь мне, а я буду за вас бороться».

Камерон доверился. Они с Рорком работали как проклятые – лишь бы все закончить вовремя, задолго до назначенного срока, прежде чем Гулд и Петтингилл представят свой проект. Петтингилл был двоюродным братом жены президента компании и крупнейшим специалистом по развалинам Помпеи. Сам же президент был страстным поклонником Юлия Цезаря и как-то раз, будучи в Риме, целых полтора часа благоговейно изучал Колизей.

Камерон и Рорк сутками не вылезали из чертежной, встречая один холодный рассвет за другим. Камерон неволь-

но ловил себя на мысли о счете за электричество, но тут же заставлял себя забыть о нем. Далеко за полночь в чертежной еще горел свет; Камерон посылал Рорка за бутербродами. Рорк, выходя на улицу, попадал в серое утро – в бюро, в окнах, выходящих на высокую кирпичную стену, еще царила ночь. В последний день Рорк велел Камерону отправляться домой сразу после полуночи, потому что у того немилосердно дрожали руки, а нога постоянно искала опоры в виде высокого табурета, на который Камерон медленно и очень аккуратно ставил колено. Именно на эту аккуратность было больше всего смотреть. Рорк отвел учителя вниз, усадил в такси, и в свете уличных фонарей Камерон увидел его лицо, изможденное, с сухими губами, увидел глаза, которые закрывались сами собой. На другое утро Камерон вошел в чертежную и сразу же увидел на полу опрокинутый кофейник, вокруг которого расплылась черная лужица. В этой лужице, ладонью вверх, лежала рука Рорка с полусогнутыми пальцами. Рорк, растянувшись на полу и запрокинув голову, крепко спал. На столе Камерон обнаружил законченный проект...

Он сидел, глядя на письмо, лежащее на столе. Самое унижительное заключалось в том, что он даже не мог думать о тех бессонных ночах, о здании, которое должно было подняться в Астории, о здании, которое теперь появится там вместо него. В голове осталась лишь мысль о неоплаченном счете за электричество...

За эти последние два года Камерон иногда неделями не

появлялся в бюро, а Рорк не находил его дома и прекрасно понимал, что происходит, но мог только ждать, уповая на благополучное возвращение Камерона. Потом Камерон даже перестал стыдиться своих мук и приходил на работу покачиваясь, никого не узнавая. Мертвецки пьяный, он выставлял свое состояние напоказ в стенах того единственного на земле места, к которому относился с уважением.

Рорк научился встречать своего домовладельца спокойным утверждением, что не сможет расплатиться с ним еще неделю. Домовладелец боялся его и не решался настаивать. Питер Китинг каким-то образом узнал об этом, как всегда узнавал то, о чем хотел узнать. Однажды вечером он явился в выстуженную комнату Рорка и уселся, не снимая пальто. Он извлек бумажник, вытащил оттуда пять десятидолларовых банкнот и вручил Рорку:

– Тебе нужны деньги, Говард. Я знаю, что тебе они нужны. Только не возражай. Отдашь, когда сможешь.

Рорк с удивлением посмотрел на него, взял деньги и сказал:

– Да, мне нужны деньги. Спасибо, Питер.

Тогда Китинг сказал:

– Какого черта ты растрачиваешь себя впустую у старика Камерона? Ради чего ты прозябаешь здесь, словно последний оборванец? Бросай это дело, Говард, и переходи к нам. Мне достаточно только сказать, и Франкон тебя с радостью возьмет. Для начала мы положим тебе шестьдесят в неделю.

Рорк вынул из кармана деньги и вернул их Китингу.

– Говард, да ты что? Я... я не хотел тебя обидеть.

– И я тоже.

– Но, Говард, прошу тебя, оставь себе деньги.

– Спокойной ночи, Питер.

Рорк вспомнил этот случай, когда Камерон вошел в чертежную, держа в руках письмо из Трастовой компании. Он передал письмо Рорку, молча повернулся и ушел к себе в кабинет. Рорк прочел письмо и пошел вслед за учителем. Когда они теряли очередной заказ, Рорк знал, что Камерон хочет видеть его в своем кабинете, – но не затем, чтобы поговорить о неудаче, а лишь для того, чтобы он там был, чтобы можно было поговорить о постороннем, найти хоть какое-то утешение в том, что рядом верный ученик.

На столе Камерона Рорк увидел номер нью-йоркского «Знамени».

Это была ведущая газета мощного синдиката Винанда. Рорк ожидал увидеть газету такого рода на кухне, в парикмахерской, в третьесортной гостиной какого-нибудь дома, в метро – где угодно, но только не в кабинете Камерона. Камерон увидел, что Рорк разглядывает газету, и ухмыльнулся:

– Нынче утром приобрел, по пути сюда. Смешно, правда? Я ведь не знал, что мы сегодня... получим это письмо. И все же они очень подходят друг другу – письмо и газета. Не знаю, что меня дернуло купить ее. Должно быть, чувство символики. Взгляни на нее, Говард. Это любопытно.

Рорк просмотрел газету. На первой полосе была помещена фотография матери-одиночки с пухлыми глянцевыми губами, она застрелила своего любовника. Под фотографией расположились первая часть биографии этой женщины и подробный отчет о судебном процессе. На последних страницах теснились статьи, гневно обличающие городские коммунальные службы, ежедневный гороскоп, фрагменты церковных проповедей, советы новобрачным, фотографии девушек с красивыми ножками, рекомендации тем, кто желает сохранить мужа, конкурс на лучшего ребенка, стихотворение, провозглашающее, что вымыть посуду благороднее, чем написать симфонию, статья, в которой доказывалось, что женщина, родившая ребенка, автоматически становится святой.

– Вот и ответ, Говард. Ответ тебе и мне. Эта газета. Она существует, и ее любят. Можешь ты с этим бороться? Можешь ли ты найти слова, которые читатели такой газеты услышали бы и поняли? Им не надо было присылать нам письмо. Лучше бы прислали экземпляр винандовского «Знамени». Так было бы проще и понятнее. А знаешь ли ты, что через три года этот подонок Гейл Винанд будет управлять всем миром? То-то будет прекрасный мир! И возможно, он прав.

Камерон держал газету в вытянутой руке, будто взвешивал ее на ладони.

– Дать им, чего они хотят, Говард, и позволить им обожать тебя за это, за то, что ты лижешь им пятки и... кое-что еще.

Не все ли равно?.. Все равно, и даже то, что мне теперь все равно, тоже все равно... – Он посмотрел на Рорка и добавил: – Если бы я только мог продержаться, пока не поставлю на ноги тебя, Говард...

– Не надо об этом.

– Надо... Странно, Говард, весной исполнится три года, как ты тут. А кажется, прошло гораздо больше, правда? И что, научил я тебя чему-нибудь? Я так скажу – научил очень многому и в то же время ничему не научил. Ведь, по сути дела, *никто* не может научить *тебя*, в смысле самую твою сердцевину. В глубине души ты сам все знаешь. И то, что ты делаешь, – это только твое, не мое, не чье-нибудь. Я могу только научить тебя лучше доводить детали. Я могу дать тебе средства, но цель – цель принадлежит только тебе. Из тебя не выйдет послушного ученичка, воздвигающего малокровные пустячки под раннее барокко или позднего Камерона. Ты будешь... эх, дожить бы да посмотреть!

– Доживете. Вы и сейчас это знаете.

Камерон стоял, глядя на голые стены своего кабинета, на белую стопочку счетов на письменном столе, на грязные дождевые капли, медленно стекающие по стеклам.

– Мне нечего им ответить, Говард. Я оставляю тебя с ними один на один. *Ты* им ответишь! Всем – газеткам Винанда, тем, чьи глаза делают существование таких газеток возможным, и тем, кто стоит за ними. Я возлагаю на тебя необычную миссию. Я даже не представляю, каким он будет, твой

ответ. Знаю только, что ответ будет, и этот ответ дашь ты, поскольку ты сам и есть этот ответ, и однажды лишь ты сумеешь найти нужные слова.

VI

«Проповедь в камне» Эллсворта Тухи увидела свет в январе 1925 года.

Книга вышла в неброской темно-синей суперобложке с четкими серебряными буквами и серебряной пирамидой в углу. У нее был подзаголовок «Архитектура для всех». Успех ее оказался сенсационным. В ней излагалась вся история архитектуры, от первобытной землянки до небоскреба, простыми обыденными словами, понятными человеку с улицы, и вместе с тем эти слова казались высоконаучными. В предисловии автор подчеркивал, что книга является «попыткой поставить архитектуру на то почетное место, которое ей принадлежит по праву, то есть в самую гущу народных масс». Далее автор признавался, что мечтает, чтобы «средний человек рассуждал об архитектуре так, как он рассуждает о бейсболе». Он не утомлял читателей техническими подробностями пяти ордеров³⁵, не вдавался в описания стоек и

³⁵ *технические подробности пяти ордеров*. – Трактат представителя позднего Возрождения Джакомо да Виньола (наст. фам. Бароцци; 1507–1573) «Правила пяти ордеров архитектуры», вышедший в Риме в 1562 г., оказал большое влияние на развитие теоретических основ европейской архитектуры и вместе с тем способствовал возникновению формализма и догматизма. Архитектурный ордер (франц. *ordre* – строй, порядок) – принцип архитектурной композиции со строго выдержанным соотношением определенных элементов и пропорций; система стоечно-балочных конструкций, подчиненная определенным закономерностям формирования, построения пропорций, расположения и чередования отдельных

перемычек, несущих опор и свойств железобетона. Страницы книги были заполнены доступными, простыми описаниями быта египетской домохозяйки, римского сапожника, любовницы Людовика Четырнадцатого: что они ели, как умывались, где делали покупки и какое воздействие на их существование оказывали здания, в которых они жили и которые их окружали. Но при этом Тухи создавал в читателях уверенность, что они познают все, что следует знать и о пяти ордерах, и о железобетоне; что нет и не было никаких вопросов, достижений, устремлений мысли, сколько-нибудь обособленных от обыденной жизни людей, равно неизвестных и в прошлом, и в настоящем; что все цели и достижения науки сводятся исключительно к усовершенствованию этой обыденной жизни; что читатели воплощают в себе высшие устремления цивилизации и достигают всех мыслимых идеалов одним лишь тем, что продолжают в неизвестности влачить свои дни. Научная точность Тухи была безупречной, эрудиция поразительной – никто не мог бы опровергнуть его суждений о кухонной утвари Вавилона или дверных ковриках Византии. В его описаниях были яркость и убедительность, свойственные очевидцу. Он не продирался сквозь гущу веков, а скорее, как отмечали критики, двигался по тропе

элементов, их структуры и художественной обработки. Обязательные части ордера – несущая опора (колонна) и несомые перекрытия (антаблемент). Классический канон архитектурных ордеров сложился в античном зодчестве (Древняя Греция, V в. до н. э.), основные типы – дорический, ионический, коринфский. В Риме появились новые разновидности – тосканский, композитный.

времени веселой, танцующей походкой. Он являлся читателям одновременно в трех обликах – шута, близкого друга и пророка.

Он утверждал, что архитектура воистину является высшим из искусств, поскольку она анонимна, как и все великое. Он утверждал, что в мире есть множество прославленных строений, но мало прославленных строителей, и это правильно, поскольку отдельная личность никогда еще не создавала ничего значительного в архитектуре, – кстати, и в других областях тоже. Те немногие, чьи имена сохранила история, на самом деле самозванцы, укравшие славу у народа, подобно тому как другие крадут у народа богатство. «Когда мы созерцаем величие древнего монумента и приписываем его гению одного человека, мы совершаем непростительную духовную подмену. Мы забываем об армии безвестных невоспетых каменщиков, предшественников этого “гения” во тьме неведомых веков, которые смиренно трудились (а истинный героизм смиренен) и вносили свою малую лепту в общую сокровищницу эпохи. Каждое великое сооружение есть не творение той или иной гениальной личности, а лишь материальное воплощение духа народа».

Он объяснял, что упадок в архитектуре наступил тогда, когда на смену средневековому общинному устройству явилась частная собственность, что эгоизм частных собственников, которые строили с одной целью – удовлетворить свой дурной вкус («любые претензии на свой особый, индивиду-

альный вкус и есть дурной вкус»), уничтожил планомерную городскую застройку. Он доказывал, что никакой свободы воли не существует, ибо все творческие устремления людей, как и все прочее, жестко обусловлены экономическим укладом эпохи, в которой живут эти люди. Он восхищался всеми великими архитектурными стилями прошлого, но предостерегал от их произвольного смешения. Современную архитектуру он вообще не брал в расчет, говоря, что «до сей поры она представляла собой лишь прихоти и причуды отдельных личностей, не имеющие никакого отношения к великому и свободному движению народных масс, а следовательно, и никакого значения». Он предсказывал светлое будущее, где все люди станут братьями, а все постройки – гармоничными и неотличимыми друг от друга, согласно великой традиции Греции, матери Демократии. В этом месте он сумел, ничуть не поступившись спокойной отстраненностью слога, передать ощущение, что слова, ныне четко отпечатанные, в рукописи были начертаны нетвердой рукою, дрожащей от избытка чувств. Он призывал отказаться от эгоистического стремления к личной славе и посвятить себя воплощению в камне духа народа. «Архитекторы – это слуги, а не вожди. Они должны не утверждать свое маленькое Я, а выражать душу своей страны и ритмы своего времени. Они должны не потакать своим личным прихотям, а стремиться к общему знаменателю, что приблизит их творения к сердцу народных масс. Архитекторы... да, друзья мои, архитек-

торы не имеют права рассуждать. Их дело не руководить, а подчиняться».

Реклама «Проповеди в камне» включала в себя следующие выдержки из критических статей: «Потрясающе!», «Феноменальное достижение!», «Подобного еще не знала история искусств!», «Не упустите шанс познакомиться с милейшим человеком и глубочайшим мыслителем!», «Обязательное чтение для каждого, кто претендует на звание интеллигентного человека!».

Очевидно, претендентов на это звание набралось очень много. Читатели приобретали эрудицию и авторитетность суждений без серьезных занятий, без издержек и усилий. Очень приятно было смотреть на дома и критиковать их с видом профессионала, вспоминая при этом четыреста тридцать девятую страницу «Проповеди»; вести высокохудожественные споры, обмениваясь одними и теми же цитатами из одних и тех же глав. В светских гостиных вскоре уже можно было услышать: «Архитектура? Ах да, Эллсворт Тухи!»

В соответствии со своими принципами Эллсворт М. Тухи на протяжении всей книги не упомянул ни одного архитектора. «Метод исторического исследования, построенный на мифотворчестве и почитании героев, всегда был мне глубоко отвратителен». Имена появлялись только в сносках. В нескольких сносках упоминался Гай Франкон, «имеющий некоторую склонность к украшательству, но заслуживающий похвалы за верность строгим принципам классицизма». В

одной сноске говорилось и о Генри Камероне, «когда-то известном как один из основателей так называемой современной школы, а ныне прочно и заслуженно забытом. Vox populi vox dei³⁶».

В феврале 1925 года Генри Камерон оставил работу.

Он уже год предвидел наступление этого дня. Он не говорил об этом с Рорком, но они оба это прекрасно понимали и продолжали работать, ни на что не рассчитывая, кроме одного – продолжать работать, пока это еще возможно. За этот год в их бюро накапало несколько заказов – дачки, гаражи, реставрация старых зданий. Они брали все. Но и эта тоненькая струйка вскоре иссякла. Трубы пересохли. Общество, которому Камерон никогда не платил по счетам, перекрыло воду.

Симпсона и старика, сидевшего в приемной, давно уже рассчитали. Остался только Рорк, который длинными зимними вечерами неподвижно сидел, глядя на Камерона, полусползшего со стула и безжизненно уронившего голову на стол. В свете лампы поблескивала бутылка.

Как-то в феврале, когда Камерон уже несколько недель не притрагивался к спиртному, он потянулся снять книгу с полки и вдруг рухнул к ногам Рорка – рухнул окончательно и бесповоротно. Рорк отвез его домой, а вызванный врач объявил, что если Камерон не будет строго соблюдать постельный режим, то подпишет себе смертный приговор. Камерон

³⁶ Глас народа – глас Божий (лат.).

и сам это понимал. Он лежал неподвижно, послушно вытянув руки вдоль тела. Его немигающий взгляд был пуст. Он тихо сказал:

– Говард, закрой бюро, пожалуйста.

– Хорошо, – сказал Рорк.

Камерон закрыл глаза и не сказал больше ни слова. Рорк всю ночь просидел у его постели, не зная, спит учитель или нет.

Откуда-то из Нью-Джерси приехала сестра Камерона, кроткая пожилая дама с седыми волосами, дрожащими руками и совершенно неприметным лицом. От нее исходило ощущение полной покорности судьбе и тихого отчаяния. Обладая крохотным доходом, она тем не менее приняла на себя ответственность за брата и взяла его к себе, в свой дом в Нью-Джерси. Она никогда не была замужем, и, кроме брата, у нее не было никого на свете. Этому бременю она не обрадовалась и не опечалилась, поскольку уже давно утратила способность чувствовать.

В день отъезда Камерон передал Рорку письмо, которое с великим трудом написал накануне ночью, положив на колени старый кульман и опираясь спиной о подушку. Письмо было адресовано одному известному архитектору, в нем содержалась рекомендация. Рорк прочитал письмо и, глядя на Камерона, а не на собственные руки, разорвал его, сложил обрывки и еще раз порвал.

– Нет, – сказал Рорк. – Вам не следует просить их ни о

чем. Не беспокойтесь обо мне.

Камерон кивнул и погрузился в долгое молчание. Потом он произнес:

– Говард, ты закроешь бюро. В уплату за аренду пусть оставят себе мебель. Возьми только рисунок на стене в моем кабинете и переправь его мне. Только его. Все остальное сожги. Все бумаги, папки, чертежи, контракты – все.

– Хорошо, – сказал Рорк.

Мисс Камерон пришла с санитарями и носилками, и все отправились в карете скорой помощи к парому. У входа на причал Камерон сказал Рорку:

– Теперь иди. – И добавил: – Навещай меня, Говард... Только не слишком часто...

Рорк повернулся и зашагал прочь, а Камерона понесли на пирс. Утро было пасмурное, в воздухе стояло холодное и гнилостное дыхание моря. Над набережной низко пикировала серая чайка. На фоне мокрой каменной стены она казалась парящим обрывком газеты.

В тот же вечер Рорк пришел в опустевшее бюро Камерона. Не включая свет, он растопил железную печку в кабинете Камерона и стал бросать в огонь содержимое одного ящика за другим, даже не просматривая. В тишине слышалось тихое потрескивание горячей бумаги. В комнате поднялся слабый запах плесени. Огонь шипел, трещал, вспыхивал яркими языками. Иногда из пламени вылетал дрожащий белый клочок с обгоревшими краями. Рорк заталкивал его обратно

концом железной линейки.

Горели чертежи зданий Камерона, и знаменитых, и оставшихся недостроенными, горели синьки, на которых тонкими линиями были обозначены балки, которые еще где-то стояли; горели контракты, на которых стояли подписи знаменитых людей. Иногда в алом сиянии проступало семизначное число, выведенное на пожелтевшей бумаге, проступало и тут же исчезало в маленьком облачке огненных искр.

Из папки со старыми письмами выпала на пол газетная вырезка. Рорк поднял ее. Она пожелтела и стала такой хрупкой, что ломалась на сгибах прямо в пальцах Рорка. Это было интервью, которое Генри Камерон дал 7 мая 1892 года. «Архитектура – это не бизнес, не карьера, это крестовый поход и посвящение своей жизни тому счастью, ради которого только и стоит жить на земле». Рорк бросил вырезку в огонь и потянулся за следующей папкой. Он собрал все огрызки карандашей со стола Камерона и бросил их в пламя.

Рорк неподвижно стоял возле печки, не глядя на огонь, лишь боковым зрением ощущая трепетание пламени. Он смотрел на висящее перед ним на стене изображение небоскреба, который так и не был построен.

Китинг служил у Франкона и Хейера уже третий год. Он ходил, гордо поднимая голову, и держался нарочито прямо. Всем своим видом он напоминал преуспевающего молодого

человека с рекламы очень дорогих бритвенных лезвий или не самых дорогих автомобилей.

Одевался он хорошо и внимательно следил, чтобы это не осталось незамеченным другими. У него была скромная, но очень престижная квартирка неподалеку от Парк-авеню³⁷, и еще он купил три очень ценных офорта и прижизненное издание одного литературного классика. Эту книгу он ни разу не открывал, да и самого автора никогда не читал. Иногда он сопровождал клиентов в Метрополитен-опера³⁸, а однажды появился на костюмированном балу искусств и потряс всех маскарадным костюмом средневекового каменотеса – пурпурная бархатная куртка и того же цвета штаны в обтяжку. В колонке светской хроники, посвященной этому событию, упомянули его имя. Это первое упоминание о себе в печати он вырезал и бережно сохранил.

Он забыл о первом спроектированном им здании. Забыл о страхах и сомнениях, сопутствовавших появлению на свет его первенца. Он давно уже понял, до чего все просто. Клиенты готовы будут принять все, что он предложит, лишь бы им дали внушительный фасад, величественный вход и гостиную под стать королевской, гостиную, которой можно было бы потрясти гостей. Все выходило ко всеобщему удовлетво-

³⁷ *Парк-авеню* – одна из наиболее фешенебельных улиц центральной части Манхэттена.

³⁸ *Метрополитен-опера* – ведущий оперный театр в США. Открыт в Нью-Йорке в 1883 г.; помещался в здании, построенном по проекту архитектора Дж. К. Кейди. С 1966 г. находится в новом здании Линкольн-сен-тер.

рению: Китингу было наплевать на все, лишь бы произвести впечатление на клиентов; клиентам было наплевать на все, лишь бы произвести впечатление на гостей; а гостям было просто наплевать на все.

Миссис Китинг сдала внаем свой дом в Стентоне и переехала в Нью-Йорк к сыну. Она была не нужна ему, но отказать ей он не мог – она ведь его мать, а матерям отказывать не принято. Он даже встретил ее с некоторой радостью, ему очень хотелось поразить ее своими успехами. Но она не поразилась. Внимательно осмотрев его жилище, гардероб, чековую книжку, она лишь сказала: «Ладно, Пит, пока сойдет. Но только пока».

Однажды она пришла к нему на службу и ушла, не пробыв там и полчаса. В тот вечер Китингу пришлось полтора часа, ерзя и скрипя стулом, выслушивать советы матери.

– Этот тип, Уизерс, носит костюм намного дороже твоего. Это не дело, Пит. Надо блюсти свой престиж перед этими парнями. Тот коротышка, который принес тебе синьки, – мне совсем не понравилось, как он разговаривал с тобой... Нет-нет, ничего особенного, только я на твоём месте присмотрелась бы к нему повнимательнее... А тот длинноносый явно тебе не друг... Почему? Уж я-то вижу... Поосторожнее с этим, как его... Беннетом. На твоём месте я бы от него избавилась. Он высоко метит. Я таких насквозь вижу. – Потом она спросила: – Гай Франкон... У него есть дети?

– Одна дочь.

– Ах вот как... – встрепелулась миссис Китинг. – И какая она из себя?

– Я ее ни разу не видел.

– Как же так, Питер? – сказала она. – Ты не предпринимаешь никаких усилий, чтобы познакомиться с членами семьи мистера Франкона, тем самым проявляя к нему явную непочтительность.

– Мама, она учится в колледже, далеко от Нью-Йорка. Когда-нибудь я с ней обязательно познакомлюсь. А сейчас уже поздно, мама, а у меня завтра столько работы...

Но всю ночь и весь следующий день он думал об этом разговоре. Да и раньше он нередко обращался мыслью к дочери Франкона. Он знал, что колледж она давно закончила и сейчас работает в «Знамени», где ведет небольшую колонку об интерьере. Помимо этого он ничего не смог узнать о ней. Похоже, никто в бюро ничего не знал о ней. Франкон же никогда не заговаривал о дочери.

В тот же день в обеденный перерыв Китинг решил начать разговор на эту тему.

– Я слышал очень лестные отзывы о твоей дочери, – сказал он Франкону.

– И где же ты услышал эти лестные отзывы? – весьма зловеще спросил Франкон.

– Да знаешь, так, вообще... Словом, слышал. И пишет она превосходно.

– Да, пишет она превосходно. – Франкон резко захлопнул

рот.

– Понимаешь, Гай, мне очень хотелось бы с ней познакомиться.

Франкон посмотрел на него и устало вздохнул.

– Ты же знаешь, что она не живет со мной, – сказал Франкон. – У нее своя квартира. Я даже не уверен, что помню адрес... Да ты, скорее всего, познакомишься с ней когда-нибудь. Питер, она тебе не понравится.

– Почему ты так говоришь?

– Есть основания, Питер. Боюсь, я оказался скверным отцом... Да, Питер, скажи-ка, как отнеслась миссис Маннеринг к новому проекту лестницы?

Китинг почувствовал гнев, разочарование – и облегчение. Он посмотрел на приземистую фигуру Франкона и попытался представить себе, какую же внешность должна была унаследовать его дочь, чтобы вызвать такую явную неприязнь даже у отца. «Богата и страшна как смертный грех, – решил он. – Впрочем, все они такие». Он подумал, что это его не остановит – в нужный момент. Мысль о том, что этот момент откладывается, только обрадовала его, и он тут же почувствовал огромное желание сегодня же навестить Кэтрин.

Миссис Китинг знала Кэтрин по Стентону и страстно надеялась, что Питер о ней забудет. Теперь она знала, что он не забыл Кэти, хотя редко говорил о ней и не приглашал к себе домой. Миссис Китинг никогда не упоминала имени Кэтрин. Зато она непрестанно заводила речь о нищих девицах, ко-

которые подцепляют на крючок блестящих молодых людей, о многообещающих юношах, чье завидное будущее было загублено женитьбой на абсолютно неподходящих женщинах. Она читала ему вслух каждое газетное сообщение о том, что та или иная знаменитость разводится со своей женой-пленницей, которая никак не может соответствовать высокому общественному положению мужа.

Направляясь к дому Кэтрин, Китинг задумался об их редких свиданиях. Ни в одном из них не было ничего значительного, но из трех лет, проведенных им в Нью-Йорке, именно эти дни запали ему в память.

Когда она открыла ему дверь, он увидел посреди гостиной ее дяди груды писем, беспорядочно разбросанных по всему ковру, портативную пишущую машинку, газеты, коробки, ножницы и баночку с клеем.

– Боже мой! – сказала Кэтрин, неловко бухнувшись на колени посреди всего этого беспорядка.

Она посмотрела на него, улыбнулась обезоруживающей улыбкой, прикрывая руками бумажные кипы. Ей было почти двадцать лет, но сейчас она выглядела ничуть не старше семнадцати.

– Садись, Питер. Я думала, что закончу до твоего прихода, но, кажется, не успела. Тут письма от дядиных поклонников и вырезки из прессы. Мне надо все рассортировать, ответить на письма, разложить по папкам, написать благодарственные записочки... Видел бы ты, что ему пишут! Это чудо что та-

кое! Да не стой там! Садись, пожалуйста. Я через минутку закончу.

– Ты уже закончила, – сказал он, взял ее на руки и отнес в кресло.

Он обнимал ее, целовал, а она смеялась от счастья, уткнувшись лицом ему в плечо. Он сказал:

– Кэти, ты такая несносная дурочка, и у тебя так сладко пахнут волосы!

Она сказала:

– Питер, не двигайся. Мне так хорошо.

– Кэти, я хочу тебе сказать. У меня сегодня замечательный день. Было официальное открытие здания Бордмена. Ты его знаешь, это на Бродвее. Двадцать два этажа и готический шпиль. У Франкона было несварение, и я пошел на открытие как его представитель. Я же как-никак проектировал этот дом и... Впрочем, ты же об этом ничего не знаешь.

– Все я знаю, Питер! Я видела все твои дома. У меня есть их фотографии. И я составляю из них памятный альбом, вроде дядиного... Ой, Питер, как это здорово!

– Что здорово?

– Дядины альбомы, письма, вот это все... – Она вытянула руки над бумагами, разбросанными по полу, будто желая их обнять. – Ты только подумай, письма идут со всей страны, от совершенно незнакомых людей, для которых он, оказывается, так много значит. А я вот ему помогаю, я, ничего собой не представляющая, – а какая на мне ответственность! Это

так важно, так ответственно, касается всей страны, и все наши личные дела – такие мелочи по сравнению с этим!

– Ах вот как? Это он тебе так сказал?

– Ничего он мне не говорил. Но невозможно ведь прожить с ним несколько лет и не перенять хотя бы частичку его... его замечательной самоотверженности.

Ему захотелось рассердиться, но он увидел ее сияющую улыбку, глаза, в которых светился незнакомый огонь, и ему оставалось только улыбнуться в ответ.

– Я вот что скажу, Кэти. Тебе это очень идет, чертовски идет. Знаешь, ты выглядела бы просто сногсшибательно, если бы научилась хоть чуточку разбираться в одежде. Когда-нибудь я силком отволоку тебя к хорошему портному. Я хочу представить тебя Гаю Франкону. Он тебе понравится.

– Да? А ты, по-моему, говорил, что не понравится.

– Неужели? Значит, тогда я не знал его по-настоящему. Он отличный мужик. Я хочу познакомить тебя со всеми. Тебе будет... Эй, куда ты?

Она обратила внимание на стрелки его наручных часов и тихонечко попятилась от него.

– Я... Питер, скоро девять, а мне надо все закончить до прихода дяди Эллсворта. Он придет к одиннадцати – выступает на собрании профсоюза. Я буду разговаривать с тобой и одновременно работать. Ты не против?

– Конечно, против! Пошли они к черту, поклонники твоего драгоценного дядюшки! Пусть сам с ними разбирается.

А ты сиди где сидишь.

Она вздохнула, но послушно положила голову ему на плечо.

– Не смей так говорить о дяде Эллсворте. Ты его совсем не знаешь. Читал его книгу?

– Да. Читал. Замечательная, гениальная книга. Но куда бы я ни пошел, везде только и разговоров, что о ней. Так что, если ты не возражаешь, давай переменим тему.

– Ты все еще не хочешь познакомиться с дядей Эллсвортом?

– Я? С чего ты взяла? Очень хочу.

– Ах так...

– А что?

– Но ты как-то сказал, что не хочешь знакомиться с ним через меня.

– Правда? И как ты только запоминаешь всю чепуху, которую мне случается наговорить?

– Питер, теперь я не хочу, чтобы ты знакомился с дядей Эллсвортом.

– Почему?

– Не знаю. Наверное, это глупо, но я просто не хочу. А почему – не знаю.

– Ну так и не надо. Сам познакомлюсь с ним в свое время. Кэти, слушай, я вчера стоял у окна в своей комнате и думал о тебе, и мне так захотелось, чтобы ты была рядом. Я чуть не позвонил тебе, но было уже поздно. Иногда мне так без

тебя бывает тоскливо, и я...

Она слушала, обвив руками его шею. А потом он увидел, как она, скользнув взглядом мимо него, вдруг открыла рот от ужаса. Кэтрин вскочила, пробежала через комнату, опустилась на четвереньки, заползла под письменный стол и достала оттуда бледно-лиловый конверт.

– Что еще такое? – сердито спросил он.

– Очень важное письмо, – сказала она, не поднимаясь с колен и сжав конверт в своем кулачке. – Это очень важное письмо, и оно очутилось под столом, чуть ли не в мусорной корзине. Я бы его выкинула и не заметила. Это от бедной вдовы. У нее пятеро детей, и старший хочет быть архитектором, а дядя Элсворт собирается устроить ему стипендию.

– Так, – сказал Китинг, поднимаясь с кресла. – С меня довольно. Пошли отсюда, Кэти. Прогуляемся. На улице сейчас чудесно. А здесь ты сама не своя.

– Ой, здорово! Пойдем гулять.

На улице стояла сплошная пелена из мелких, сухих, невесомых снежинок. Она неподвижно висела в воздухе, заполняя узкие проемы улиц. Питер и Кэтрин шли, прижавшись друг к другу, и их следы оставляли длинные коричневые лунки на белых тротуарах.

На Вашингтон-сквер³⁹ они присели на скамейку. Площадь

³⁹ *Вашингтон-сквер* – площадь, расположенная в южной части Манхэттена. На площади установлена арка в честь Джорджа Вашингтона, здесь же находятся корпуса Нью-Йоркского университета.

окутал снег, отрезав их от окружающих домов, от раскинувшегося позади города. Через тень арки мимо них пролетали точки огней – белых, зеленых, тускло-красных.

Кэтрин сидела, прижавшись к Питеру. Он смотрел на город. Этого города он всегда боялся, не перестал бояться и сейчас. Правда, у него были два не очень сильных защитника – снег и девушка рядом с ним.

– Кэти, – прошептал он. – Кэти...

– Я люблю тебя, Питер...

– Кэти, – произнес он без колебаний, – мы помолвлены, да?

Он увидел легкое движение ее подбородка, сначала вниз, а потом вверх, и с ее губ слетело одно только слово.

– Да, – проговорила она настолько спокойно и серьезно, что голос ее мог бы со стороны показаться безразличным.

Она никогда не задавала себе вопросов о собственном будущем, ведь вопросы означают наличие сомнения. Но, прозвня «да», она понимала, что долго ждала этого момента и может все погубить, если даст волю чувствам и признает, что очень счастлива.

– Через год или два, – сказал он, сжимая ее ладонь, – мы поженимся. Как только я встану на ноги и окончательно обоснуюсь в фирме. Мне же надо еще и о матери заботиться, но через год все образуется. – Он говорил нарочито бесстрастно, чтобы не спугнуть ощущение переживаемого чуда.

– Я подожду, Питер, – прошептала она. – Нам незачем

спешить.

– Мы никому не скажем, Кэти... Это будет наша тайна, только наша, пока... – И тут он замер, пораженный одной мыслью, тем более неприятной, что он был не в силах доказать, что эта мысль до сего момента ему в голову не приходила. И все же он мог честно признаться себе, что это, как ни странно, было именно так. Он резко отстранил Кэтрин и сердито спросил: – Кэти, ты не думаешь, что это из-за твоего чертова великого дядюшки?

Она рассмеялась, легко и беззаботно, и он понял, что оправдан.

– Боже мой, Питер, что ты говоришь! Ему, конечно, это не понравится, но какое нам дело?

– Не понравится? Но почему?

– Он, мне кажется, не одобряет брака. Не подумай только, что он проповедует что-то аморальное. Но он всегда говорил мне, что брак – это старомодный, чисто экономический союз, призванный увековечить институт частной собственности, или что-то в этом роде, словом, он его не одобряет.

– Ну и замечательно! Мы ему покажем.

Честно говоря, Китинга это даже обрадовало. Ведь хотя сам он знал, что ничего такого у него в мыслях не было, но у других могло возникнуть подозрение, что к его чувству к Кэтрин примешиваются, пусть и в незначительной степени, такие соображения, которые могли бы возникнуть у него по отношению... например, к дочери Франкона. Неодобритель-

ное отношение Тухи к браку начисто снимало подобные подозрения. Китинг и сам не понимал, почему для него так важно, чтобы его любовь к Кэтрин никак не соприкасалась с его отношениями со всеми остальными.

Откинув голову, он ощутил на губах покалывание снежинок. Потом он повернулся и поцеловал ее. Прикосновение ее губ было мягким и холодным от снега.

Ее шляпка сбилась набок, губы полуоткрыты, глаза – круглые и беспомощные, ресницы блестели. Он держал ее руку, глядя на ладонь. На ней была черная вязаная перчатка с по-детски неуклюже растопыренными пальцами. В ворсинках перчатки он увидел жемчужины растаявшего снега – они ярко блеснули в свете фар пронесшегося мимо автомобиля.

VII

Бюллетень Американской гильдии архитекторов опубликовал в разделе «Разное» коротенькое сообщение о прекращении профессиональной деятельности Генри Камерона. В шести строчках обобщались его достижения в области архитектуры, причем названия двух лучших его зданий были напечатаны с ошибками.

Питер Китинг вошел в кабинет Франкона, когда тот самым деликатным образом торговался с антикваром, который запросил за табакерку, когда-то принадлежавшую мадам Помпадур⁴⁰, на девять долларов двадцать пять центов больше, чем Франкон готов был заплатить. После ухода антиквара, сумевшего-таки уломать Франкона, тот с недовольной миной повернулся к Китингу и спросил:

– В чем дело, Питер, чего надо?

Китинг швырнул бюллетень на стол Франкона и отчеркнул ногтем заметку о Камероне.

– Мне нужен этот человек, – сказал он.

– Какой человек?

– Говард Рорк.

– Что еще за Рорк? – спросил Франкон.

⁴⁰ *Мадам Помпадур* – Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV, оказывала заметное влияние на государственные дела.

– Я тебе о нем рассказывал. Проектировщик Камерона.

– А... да, помнится, рассказывал. Ну так иди и приведи его.

– Ты дашь мне полную свободу действий при его найме?

– Какого черта? Нанять еще одного чертежника – что тут особенного? Кстати, обязательно надо было меня тревожить из-за такого пустяка?

– Он может заартачиться. А мне обязательно надо заполучить его, прежде чем он обратится в другую фирму.

– В самом деле? Значит, по-твоему, он может заартачиться? Ты что, намерен *умолять* его поступить *сюда* после работы у Камерона, что, кстати, не Бог весть какая рекомендация для молодого человека?

– Брось, Гай. Сам же понимаешь, что это совсем не так.

– Ну... ну, в общем, если брать аспект чисто технический, но не эстетический, надо признать, что Камерон дает основательную подготовку и... конечно, в *свое* время он был значительной фигурой. Более того, я сам когда-то был его лучшим чертежником. С этой точки зрения за старика Камерона можно замолвить словечко-другое. Действуй. Веди своего Рорка, если он тебе так нужен.

– Да не то чтобы он мне был так уж нужен. Просто он мой старый друг и остался без работы, и я решил, что неплохо было бы ему помочь.

– Делай что хочешь, только ко мне не приставай... Кстати, Питер, согласишься, что более очаровательной табакерки ты в

жизни не видел.

В тот же вечер Китинг без предупреждения поднялся в комнату Рорка, нервно постучался и вошел с очень веселым видом. Рорк сидел на подоконнике и курил.

– Мимо проходил, – сказал Китинг. – Выдался свободный вечерок, и я как раз вспомнил, что ты живешь тут неподалеку. Дай, думаю, зайду, скажу: «Привет, давно не виделись».

– Я знаю, зачем ты пришел, – сказал Рорк. – Я согласен. Сколько?

– О чем ты, Говард?

– Ты прекрасно знаешь, о чем я.

– Шестьдесят пять в неделю, – выпалил Китинг. Это был совсем не тот тонкий подход, который он тщательно продумал; но он и представить не мог, что такой подход вовсе не понадобится. – Шестьдесят пять для начала. Но если этого недостаточно, я мог бы...

– Шестьдесят пять меня устраивает.

– Так ты... ты придешь к нам, Говард?

– Когда приступать?

– Ну... как только сможешь! В понедельник?

– Хорошо.

– Спасибо, Говард!

– Но при одном условии, – сказал Рорк. – Я не буду заниматься проектированием. Никаким. Даже деталей. Никаких небоскребов под Людовика Пятнадцатого. Если хочешь, чтобы я у вас работал, избавь меня от эстетики. Определи меня

в технический отдел. Посылай на строительные площадки. Ну что, все еще хочешь заполучить меня?

– Разумеется. Все будет так, как ты скажешь. Тебе у нас понравится, вот увидишь. И Франкон тебе понравится. Он ведь и сам начинал у Камерона.

– Уж ему-то не стоит этим похвастаться.

– Ну...

– Ладно, не переживай. Этого я ему в лицо не скажу. Вообще ничего никому говорить не стану. Тебе это надо было знать?

– Да нет. За это я не переживаю. Мне вообще такое в голову не приходило.

– Тогда решено. Спокойной ночи! До понедельника.

– Да, но... я особенно не тороплюсь, я ведь, собственно, пришел тебя проведать и...

– В чем же дело, Питер? Что тебя беспокоит?

– Ничего... Я...

– Ты хочешь знать, почему я так поступаю? – Рорк улыбнулся, без сожаления, но и без энтузиазма. – Так ведь? Я скажу, если тебе интересно. Мне совершенно безразлично, где теперь работать. В городе нет архитектора, у которого мне хотелось бы поработать. Но где-то работать надо, можно и у твоего Франкона, если там согласны на мои условия. Я продаю себя, Питер, я готов вести такую игру – до поры до времени.

– Честное слово, Говард, не надо так смотреть на это. У

нас перед тобой откроются безграничные возможности, надо только немножко пообвыкнуть. Хотя бы увидишь, для разнообразия, как выглядит настоящее архитектурное бюро. После Камероновой дыры.

– Об этом, Питер, помолчим. И сейчас, и после!

– Я не собирался критиковать и... я вообще ничего не имел в виду. – Он не мог сообразить, что сказать и какие, собственно, чувства следует испытывать. Это была победа, но какая-то уж очень неубедительная. Но все же победа, и ему очень хотелось найти в себе хоть какую-то симпатию к Рорку. – Говард, пойдем выпьем. Отметим, так сказать, событие.

– Извини, Питер. Это в мои служебные обязанности не входит.

Китинг шел сюда, готовый проявить предельную осмотрительность и весь такт, на который только был способен. Он добился цели, которой в глубине души и не рассчитывал добиться. Он понимал, что сейчас не следует рисковать. Нужно молча удалиться. И все же нечто необъяснимое, не оправданное никакими практическими соображениями подталкивало его. Он не выдержал:

– Ты можешь хоть раз в жизни держаться как человек?

– Как кто?

– Как человек. Просто. Естественно.

– Я так и держусь.

– Ты вообще способен расслабиться?

Рорк улыбнулся – он ведь и так сидит на подоконнике в совершенно расслабленной позе, лениво привалившись спиной к стене, болтая ногами. Даже сигарета висит между пальцев, которые совсем ее не удерживают.

– Я не об этом! – взвился Китинг. – Почему ты не можешь пойти и выпить со мной?

– А зачем?

– Неужели обязательно должна быть какая-то цель? Непременно надо всегда быть таким чертовски серьезным? Ты не способен хоть иногда сделать что-то без всякой причины, как все люди? Ты такой серьезный, такой старый. Для тебя вечно все такое важное, великое, каждая минута, даже если ты ни черта не делаешь! Неужели ты не можешь просто отдохнуть, быть не столь значительным?

– Не могу.

– Тебе не надоело быть героем?

– А что во мне героического?

– Ничего. Все. Не знаю. Дело не в твоих поступках. Дело в том, как чувствуют себя другие в твоём присутствии.

– И как же?

– Неестественно. Напряженно. Когда я нахожусь рядом с тобой, мне всегда кажется, что я поставлен перед выбором. Или я – или весь остальной мир. Я не желаю такого выбора. Не желаю быть изгоем. Хочу быть со всеми или, по крайней мере, не один. В мире так много простых и приятных вещей. В нем есть не только борьба и самоотречение. А у тебя по-

лучается так, будто ничего другого и нет.

– От чего же это я самоотрекся?

– О, ты никогда ни от чего не отречешься! Если тебе что-нибудь втемяшится в голову, ты и по трупам пойдешь! Но кое от чего ты отказался уже потому, что никогда не хотел этого.

– Это оттого, что невозможно хотеть и того и другого.

– Чего «того и другого»?

– Слушай, Питер, я ведь тебе ничего подобного о себе не рассказывал. С чего ты это взял? Я никогда не просил тебя выбирать между мною и чем-то еще. Что же заставляет тебя думать, будто я тебя ставлю перед выбором? И почему ты себя неуверенно чувствуешь, если так уверен, что я не прав?

– Я не... не знаю. Я не понимаю, о чем ты говоришь. – Затем Китинг неожиданно спросил: – Говард, за что ты меня ненавидишь?

– Я тебя не ненавижу.

– Вот, вот именно! Так за что, за что ты меня не ненавидишь?!

– А зачем мне тебя ненавидеть?

– Чтобы я хоть что-то мог чувствовать! Я понимаю, что ты не можешь любить меня. Ты никого не можешь любить. Так не добрее ли дать людям почувствовать, что ты хотя бы ненавидишь их, чем просто не замечать, что они существуют?

– Я не добр, Питер. – Поскольку Китингу сказать было

нечего, Рорк добавил: – Иди домой, Питер. Ты получил то, за чем пришел. И довольно об этом. Увидимся в понедельник.

Рорк стоял у доски в чертежной «Франкона и Хейера», держа в руке карандаш. Прядь ярко-рыжих волос упала на лоб; обязательный жемчужно-серый халат, в который был облачен Рорк, походил на форму заключенного.

Он уже примирился со своей новой работой. Линии, которые он чертил, должны были преобразиться в четкие контуры стальных балок. Он старался не думать о том, какой именно груз будут нести эти балки. Иногда это было очень трудно. Между ним и проектом, над которым он работал, вырастал образ того же здания – каким ему следовало быть. Он видел, как и что переделать, как изменить прочерчиваемые им линии, куда повести их, чтобы получилось действительно что-то стоящее. Ему приходилось подавлять в себе это знание. Приходилось убивать собственное видение. Он обязан был подчиняться и чертить так, как было велено. Это причиняло ему такую боль, что иногда приходилось прикрикнуть на самого себя в холодной ярости: «Трудно? Что ж, учись!»

Но боль не уходила – боль и беспомощное изумление. Возникавшее перед ним видение было неизмеримо реальнее, чем все листы ватмана, само бюро, заказы. Он не мог взять в толк, почему другие ничего не видят, откуда взялось их безразличие. Глядя на лежащий перед ним лист, он не понимал, почему существует бездарность и почему именно ей

принадлежит решающее слово. Этого он никогда не мог понять. И действительность, в которой подобное допускалось, продолжала оставаться для него не вполне реальной.

Но он знал, что долго так продолжаться не может, что надо подождать, что в ожидании и заключается смысл его нынешней работы, что его чувства не имеют никакого значения, что надо, обязательно надо просто ждать.

– Мистер Рорк, у вас готов стальной каркас готического фонаря для здания Американской радиокорпорации?

В чертежной у него не было друзей. Он находился там как предмет обстановки – нужный, но безликий и немой. Только начальник технического отдела, к которому был приписан Рорк, сказал Китингу после двух недель работы Рорка:

– А у вас, Китинг, голова варит лучше, чем мне всегда казалось. Спасибо.

– За что? – спросил Китинг.

– Вы, впрочем, вряд ли поймете, – сказал начальник.

Иногда Китинг останавливался возле стола Рорка и шепотом говорил:

– Говард, ты не мог бы сегодня после работы заглянуть ко мне в кабинет? Так, ничего особенного.

Когда Рорк приходил, Китинг обычно начинал так:

– Ну, Говард, как тебе у нас нравится? Может быть, тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи, и я...

Но Рорк прерывал его вопросом:

– А сейчас где не получается?

Тогда Китинг доставал из ящика стола эскизы.

– Я понимаю, что оно и так не плохо. Но если говорить в целом, то как тебе кажется?..

Рорк рассматривал эскизы, и хотя ему хотелось бросить их Китингу в лицо и уйти куда глаза глядят, его неизменно останавливала одна мысль: ведь это все же здание, и надо его спасти. Так другие не могут пройти мимо утопающего, не бросившись ему на помощь.

Потом он принимался за работу и иногда работал всю ночь, а Китинг сидел и смотрел. Рорк забывал о присутствии Китинга. Он видел только здание, только ту форму, которую он мог этому зданию придать. Он знал, что в дальнейшем эта форма будет изменена, искажена, исковеркана. И все же в проекте останется хоть какая-то соразмерность и осмысленность. И в конечном счете здание будет лучше, чем было бы в случае его отказа.

Иногда попадался эскиз проще, вразумительнее и честнее прочих. Тогда Рорк говорил:

– Совсем неплохо, Питер. Растешь.

И Китинг ощущал небольшой странный толчок в груди – тихое, интимное, драгоценное чувство, которое никогда не возникало от комплиментов Гая Франкона, заказчиков, вообще кого-либо, кроме Рорка. Вскоре он совершенно забывал об этом, особенно после того, как окунался в более весомые похвалы какой-нибудь богатой дамы, не видевшей ни одного его здания, которая роняла за чашкой чая: «Вам, ми-

стер Китинг, суждено стать величайшим архитектором Америки».

Он обнаружил возможность компенсировать свое внутреннее подчинение Рорку. Утром он появлялся в чертежной, бросал Рорку на стол чертеж, который надо было только скалькировать, и говорил: «Ну-ка, Говард, сделай мне это, да побыстрее». В середине рабочего дня он присылал к Рорку курьера, который во всеуслышание объявлял: «Мистер Китинг желает немедленно видеть вас в своем кабинете». Иногда Китинг выходил из своего кабинета и, сделав несколько шагов в направлении стола Рорка, произносил, ни к кому конкретно не обращаясь: «Куда, черт возьми, запропалились сантехнические спецификации по Двенадцатой улице? А, Говард, будь любезен, поройся в папках, откопай их и принеси мне».

Поначалу он опасался возможной реакции Рорка. Когда он увидел, что не следует вообще никакой реакции, кроме молчаливого послушания, то перестал сдерживать себя. Отдавая Рорку приказания, он испытывал физическое наслаждение, смешанное с негодованием, – как же Рорк может так безропотно выполнять любое его указание, даже самое нелепое? Тем не менее Китинг продолжал в том же духе, зная, что это может продлиться лишь до тех пор, пока Рорк не проявит гнев. В то же время ему страстно хотелось сломить Рорка, спровоцировать взрыв. Но взрыва так и не последовало.

Рорку нравились те дни, когда его отправляли инспекти-

ровать строительство. По стальным перекрытиям будущих домов он передвигался увереннее, чем по тротуарам. Рабочие с любопытством отмечали, что по узеньким доскам и незакрепленным балкам, висящим над пропастью, он ходит с легкостью, на которую были способны лишь лучшие из них самих.

Однажды в марте, когда небо в преддверии весны чуть подернулось зеленоватой дымкой и в Центральном парке⁴¹ земля, оставшаяся в пятистах футах внизу, переняла у неба этот оттенок, добавив к своей коричневой темноте намек на грядущую перемену цвета, а озера рассыпались осколками стекла под паутинками голых ветвей, Рорк прошел по каркасу будущего огромного отеля квартирного типа и остановился перед работающим электриком.

Тот усердно трудился, оборачивая балку похожим на водопроводную трубу кабелем в толстой металлической оплетке. Эта работа требовала многочасового напряжения и терпения, тем более что вопреки всем расчетам свободного места явно не хватало. Рорк встал, сунув руки в карманы, наблюдая за мучительно медленным ходом работы электрика.

Электрик поднял голову и резким движением повернулся к Рорку. У него была большая голова и настолько некрасивое лицо, что оно даже привлекало. Лицо это, не старое и не рыхлое, было сплошь покрыто глубокими морщинами,

⁴¹ *Центральный парк* – зеленый массив (840 акров) в центре Манхэттена. Спланирован Ф. Олмстедом и К. Во.

а щеки свисали, как у бульдога. Поразительны были глаза, большие, широко раскрытые, небесно-голубого цвета.

– И чего надо? – сердито спросил электрик. – Чего вылу-
пился, придурок?

– Горбатишься впустую, – сказал Рорк.

– Да ну?

– Да ну.

– Надо же!

– Тебе, чтобы обвести балку кабелем, и дня не хватит.

– А ты что, знаешь, как сделать лучше?

– Ага.

– Катись отсюда, щенок. Нам здесь умники из колледжа
без надобности.

– Прорежь в балке дыру и протяни кабель через нее.

– Черта с два, и не подумаю!

– Еще как подумаешь!

– Так никто не делает.

– Я так делал.

– Ты?

– Не только я. Так везде делают.

– А здесь не будут. Я-то точно не буду!

– Тогда я сам сделаю.

Электрик взревел:

– Ни фиги себе! С каких это пор конторские крысята стали
делать мужскую работу?!

– Дай-ка мне горелку.

– Поосторожнее с ней, голубчик. А то, не ровен час, свои нежные пальчики спалишь!

Взяв у электрика рукавицы, защитные очки и ацетиленовую горелку, Рорк опустился на колени и направил тонкую струю синего пламени в центр балки. Электрик стоя наблюдал за ним. Рорк твердой рукой удерживал тугую шипящую струю пламени. Он содрогался в такт ее яростным колебаниям, но ни на секунду не позволял ей отклониться от намеченного направления. В его теле не было ни малейшего напряжения – оно все было вложено в руку. И казалось, что синяя струя, медленно прогрызающая сталь, исходит не из горелки, а прямо из держащей ее руки.

Он закончил, положил горелку и поднялся.

– Боже мой! – сказал электрик. – Да ты, оказывается, умеешь с горелкой управляться!

– Похоже на то, а? – Рорк снял рукавицы и очки и отдал их электрику. – Теперь так и делай. А прорабу передай, что это я так велел.

Электрик с почтением смотрел на аккуратное отверстие, прорезанное в балке. Он пробормотал:

– И где ж ты, рыжий, научился так с горелкой работать?

Спокойная и довольная улыбка Рорка показывала, что это признание его победы не осталось им незамеченным.

– Я поработал и электриком, и сантехником, и клепальщиком, и еще кое-кем.

– И при этом учился?

– Да, в определенном смысле.

– Архитектором стать хочешь?

– Да.

– Тогда будешь первым из них, кто знает толк не только в красивых картинках да званых обедах. Видел бы ты, каких нам тут отличников из конторы присылают!

– Если ты так передо мной извиняешься, то не надо. Я и сам эту братию не люблю. Ладно, работай. Пока!

– Пока, рыжий!

В следующий раз, когда Рорк появился на стройплощадке, голубоглазый электрик издали помахал ему, позвал его и попросил совета, в котором совсем не нуждался. Он сказал, что его зовут Майк и что за эти несколько дней он успел соскучиться по Рорку. В следующий приход Рорка дневная смена как раз закончила работу, и Майк подождал, когда Рорк закончит осмотр.

– Ну что, рыжий, может, по кружечке пивка? – предложил он, когда Рорк вышел.

– А как же, – сказал Рорк. – Спасибо.

Сидя за столиком в углу подвальчика, они пили пиво, и Майк рассказывал свою любимую историю – как он свалился с пятого этажа, когда под ним треснули леса, и сломал три ребра, но выжил и может теперь все это рассказывать. Рорк вспоминал свою работу на стройке. Настоящее имя Майка было Шон Ксавье Доннеган, но его все давным-давно позабыли. У него был свой набор инструментов и старый «форд».

и жил он тем, что разъезжал по всей стране с одной большой стройки на другую. Сами люди не много значили для Майка, но их умение работать значило очень много. Мастерство, в каком бы деле оно ни проявлялось, он буквально боготворил. Майк страстно любил собственную работу и не выносил тех, у кого не было подобной преданности делу. В своей области он был настоящим мастером и в других ценил только мастерство. Его мировоззрение отличалось простотой: есть мастера и есть неумехи, и последние его нисколько не интересовали. Он обожал здания, но при этом презирал всех архитекторов.

– Был, правда, один, – серьезно изрек он за пятой кружкой, – но только один, но ты, рыжий, слишком молод и уже не застал его. Это был единственный архитектор, который знал толк в строительстве. Я у него работал, когда был в твоём возрасте.

– Кто ж это такой?

– Его звали Генри Камерон. Он, наверное, давно уже умер. Рорк долго смотрел на Майка, а потом сказал:

– Он не умер, Майк. – И добавил: – Я у него работал.

– Ты?!

– Почти три года.

Они молча посмотрели друг на друга, окончательно скрепив этим взглядом свою дружбу.

Спустя несколько недель Майк как-то остановил Рорка на стройплощадке и с изумленным выражением на некрасивом

лице спросил:

– Рыжий, я слышал, как наш старшой говорил парню от подрядчика, что ты упрямый и своенравный и что с таким гадом, как ты, он еще дела не имел. Что ты ему сделал?

– Ничего.

– Тогда о чем он говорил?

– Не знаю, – сказал Рорк. – Может, ты знаешь?

Майк посмотрел на него, пожал плечами и ухмыльнулся.

– Понятия не имею, – сказал он.

VIII

В начале мая Питер Китинг отправился в Вашингтон инспектировать строительство музея, подаренного городу одним великим филантропом, занятым успокоением своей совести. Здание музея, как гордо заметил Китинг, явится совершенно новым словом в архитектуре, так как будет копией не Парфенона, а Мезон Карре в Ниме⁴².

Китинг отсутствовал уже несколько дней, когда курьер подошел к столу Рорка и сообщил ему, что мистер Франкон желает видеть его в своем кабинете. Когда Говард вошел в святая святых, Франкон улыбнулся из-за стола и весело сказал:

– Садись, друг мой, садись... – Но что-то в глазах Рорка, которых Франкон никогда не видел вблизи, побудило Франкона замолчать. Он лишь сухо добавил: – Садитесь.

Рорк подчинился. Франкон секунду внимательно смотрел на него, но не смог сделать никакого вывода, отметив лишь, что у собеседника на редкость неприятное лицо, но выражение этого лица вполне корректно и внимательно.

– Вы тот самый, кто работал у Камерона, не так ли? – спро-

⁴² *Мезон Карре в Ниме* – храм Мезон Карре (Maison Carre) в Ниме (Франция), воздвигнут ок. 20 г. до н. э. Маленький храм коринфского ордера, трактованный как большой. Показательный пример вырождения содержания, подчиняемого традиционной форме.

сил Франкон.

– Да, – ответил Рорк.

– Мистер Китинг говорил мне о вас много хорошего, – очень любезно начал Франкон, но вновь остановился. Любезность была растрочена впустую. Рорк просто сидел, смотрел на него и ждал. – Слушайте... как вас?..

– Рорк.

– Слушайте, Рорк. У нас есть клиент... с некоторыми странностями. Но это важный человек, очень важный, и нам обязательно надо удовлетворить его. Он сделал нам заказ на восемь миллионов долларов – деловой центр. Но вся беда в том, что у него есть определенные представления о том, как он должен выглядеть. Он хочет...

Франкон пожал плечами, словно извиняясь и снимая с себя всякую ответственность за столь нелепое предложение.

– Он хочет, чтобы он выглядел вот так, – Франкон протянул Рорку фотографию. Это была фотография здания Дэйна.

Рорк сидел не шелохнувшись и держал фотографию между пальцами.

– Вы знаете этот дом? – спросил Франкон.

– Да.

– Вот этого он и хочет. А мистер Китинг в отъезде. Я велел сделать эскизы и Беннету, и Куперу, и Уильямсу, но заказчик отверг все. И тогда я решил предоставить эту возможность вам.

Потрясенный великодушием собственного предложения,

Франкон посмотрел на Рорка. Тот никак не прореагировал. Франкон видел перед собой человека, которого как будто только что стукнули по голове.

– Разумеется, – продолжил Франкон, – для вас это задание непривычное, сложное, но я решил дать вам попробовать свои силы. Не бойтесь, мистер Китинг да и я лично потом все подчистим. Вы просто составьте проект в общих чертах и сделайте хороший эскиз. Вы же, вероятно, понимаете, чего хочет наш заказчик, – вам известны камероновские штучки. Естественно, мы не можем позволить, чтобы из стен нашего бюро вышло подобное уродство. Нам надо удовлетворить заказчика, но при этом не потерять своей репутации и не распугать остальных клиентов. Суть в том, чтобы сделать здание попроще, сохранить общий дух вот этого, – он указал на фотографию, – но при этом не поступиться художественностью. Понимаете, пусть это будет в древнегреческом стиле, но построже. Вместо ионического ордера используйте дорический⁴³. Цоколи и лепнину попроще. Ну и так далее. Уловили? Забирайте снимок и покажите мне, на что вы способны. Обо всех деталях расскажет вам Беннет

⁴³ *Вместо ионического ордера используйте дорический.* – о классической системе архитектурных ордеров, сложившейся в Древней Греции. Ионический ордер отличается от дорического большей легкостью пропорций и более богатым декором всех частей. Дорический ордер наиболее лаконичен и прост по форме: колонна не имеет базы, ствол прорезан каннелюрами (вертикальными желобками). Широко распространен как важнейший элемент монументальных композиций классической архитектуры.

и... Что такое? – Франкон резко замолчал.

– Мистер Франкон, позвольте мне спроектировать дом так, как было спроектировано здание Дэйна.

– То есть?

– Позвольте мне это сделать. Не скопировать здание Дэйна, а выполнить проект так, как это сделал бы Генри Камерон и как могу сделать я.

– Вы хотите сказать – по-модернистски?

– Я... в общем, да, можно сказать и так.

– Вы в своем уме?

– Мистер Франкон, прошу вас, выслушайте меня. – Слова Рорка походили на ноги канатоходца, неторопливые, напряженные, ощупью разыскивающие единственную нужную точку для следующего шага, ноги, покачивающиеся над бездной, но делающие очень точные шаги. – Я не критикую те дома, которые строите вы. Я у вас работаю, получаю у вас жалование, у меня нет права высказывать свои возражения. Но сейчас... сейчас клиент сам просит... Вы же ничем не рискуете. Он сам так хочет. Подумайте только, вот человек, единственный человек, который видит и понимает, и хочет такой дом, и в состоянии построить его. Вы же не хотите впервые в жизни вступить в борьбу с клиентом – и ради чего? Чтобы обманом навязать ему все ту же старую дрянь. И это в то время, как все ваши заказчики хотят именно этой дряни и нашелся только один-единственный, кто обратился к вам с совсем другим заказом.

– А вы не забываетесь? – осведомился Франкон ледяным тоном.

– Да не все ли вам равно? Вы только дайте мне сделать этот проект по-своему и показать ему. Только показать. Он ведь уже отверг три эскиза, ну, отвергнет четвертый – только и всего! Но если он его примет... если примет...

Рорк не умел выпрашивать, это у него получалось отвратительно. Говорил он напряженно, монотонно, с заметной натугой; и его мольба звучала как оскорбление, адресованное человеку, вынудившему его взмолиться. Китинг бы дорого заплатил, чтобы увидеть Рорка в этот момент. Но Франкон был не в состоянии оценить ту победу, которой до него никто еще не добивался. Он воспринял только оскорбление.

– Я вас правильно понял? – спросил он. – Вы меня критикуете и пытаетесь преподать мне урок в области архитектуры?

– Я умоляю вас, – сказал Рорк и закрыл глаза.

– Если бы вы не были протеже мистера Китинга, я не стал бы утруждать себя дальнейшей дискуссией с вами. Но раз уж вы столь очевидно наивны и неопытны, я замечу вам, что не имею обыкновения интересоваться мнением простых чертежников в эстетических вопросах. Так что, будьте любезны, заберите фотографию – и мне не нужно от вас никакого здания, как его мог бы спроектировать Камерон. Мне нужно, чтобы вы внесли в эскиз конкретного проекта те изменения, которые связаны с особенностями участка. Что же касается

классического решения фасада, вы будете строго следовать моим указаниям.

– Я не могу этого сделать, – очень тихо произнес Рорк.

– Что? Вы это мне говорите? Вы что, в самом деле сказали: «Извините, я не могу этого сделать»?

– Нет, мистер Франкон, я не говорил «извините».

– Тогда что же вы говорили?

– Что не могу этого сделать.

– Почему?

– Это вам будет неинтересно. Не просите меня заниматься проектированием. Я готов делать для вас любую другую работу, какую только пожелаете. Но не эту. И тем более не с творением Камерона.

– То есть как это – не заниматься проектированием? Вы же рассчитываете когда-нибудь стать архитектором? Или нет?

– Но не таким путем.

– Ага... понятно. Значит, не можете выполнить задание?

Точнее, не хотите?

– Если вам так больше нравится.

– Слушайте, вы, дерзкий болван, это же неслыханно!

Рорк поднялся:

– Мне можно идти, мистер Франкон?

– За всю свою жизнь, – заорал Франкон, – за все годы работы я еще не видел ничего подобного! Зачем вас сюда наняли? Чтобы вы заявляли мне, что вы согласны делать, а что

не согласны?! Чтобы поучать меня, критиковать мой вкус, выносить приговоры?!

– Я ничего не критикую, – еле слышно сказал Рорк. – И никаких приговоров не выношу. Просто есть вещи, которые я делать не могу. И довольно об этом. Позвольте идти?

– Иди-иди! Из кабинета моего иди и из фирмы! Иди и не возвращайся! Хоть к черту, к дьяволу! Иди и подыщи себе другое место! Попробуй поищи дурака, который тебя возьмет! Получай расчет и убирайся!

– Да, мистер Франкон.

Вечером Рорк пешком дошел до подвального кабачка, куда всегда заходил после работы Майк. Теперь Майк работал на строительстве фабрики, которое вел тот же подрядчик, что и на других самых крупных объектах Франкона. Днем Майк рассчитывал встретиться с Рорком на площадке, куда тот должен был приехать с проверкой. Поэтому сейчас он встретил Рорка неприветливо:

– В чем дело, рыжий? Филонишь?

Услышав, что произошло, Майк замер, сделавшись похожим на оскалившего зубы бульдога.

– Вот сволочи, – бормотал он в промежутках между более сильными эпитетами, – какие же сволочи!..

– Успокойся, Майк.

– Ну и куда теперь, рыжий?

– Подыщу что-нибудь в том же духе – до тех пор, пока сегодняшняя история не повторится.

Вернувшись из Вашингтона, Китинг сразу же прошел в кабинет Франкона. В чертежную он не заглядывал и новостей не слышал. Франкон тепло приветствовал его:

– Ну, малыш, просто здорово, что ты вернулся! Коньячку или виски с содовой?

– Нет, спасибо. Угости лучше сигаретой.

– Держи... Выглядишь превосходно! Лучше всех. Как это тебе удается, везунчик? Мне надо тебе столько порассказать! Как идут дела в Вашингтоне? Все в порядке? – Китинг не успел и рта раскрыть, как Франкон затараторил дальше: – Со мной случилась пренеприятная вещь. Очень огорчительная. Помнишь Лили Ландау? Мне-то казалось, что у меня с ней все на мази, но, когда я ее последний раз встретил, получил от ворот поворот! И знаешь, кто ее отбил? Ты не поверишь! Гейл Винанд собственной персоной! Высоко летает девка! Во всех его газетах – сплошные ее портреты, ножки – ты бы видел! Счастье привалило! А что я могу предложить ей взамен этого? А он знаешь что сделал? Помнишь, как она всегда говорила – никто, дескать, не может дать ей то, чего ей больше всего хочется: родного дома, милой австрийской деревушки, где она родилась? И представляешь, Винанд купил эту чертову деревушку и перевез сюда – всю до последнего гвоздика! Здесь он заново собрал ее на берегу Гудзона. Там она сейчас и стоит, с булыжной мостовой, церковью, яблонями, свинарниками и прочим! А две недели

назад он взял и подарил все это Лили. А как же иначе? Если царь вавилонский сумел построить висячие сады для своей затосковавшей по дому женушки, то чем Гейл Винанд хуже? Лили, конечно, расплывается в улыбках и благодарностях, но на самом деле ей, бедняжке, совсем не весело. Ей куда больше хотелось бы норковую шубу. А эта проклятая деревня ей ни к черту не нужна. И Винанд это прекрасно знал. А вот, поди ж ты, деревня-то стоит, на самом Гудзоне. Вчера он устроил для нее прием, прямо там, в деревне. Костюмированный бал, где сам мистер Винанд изволил появиться в костюме Чезаре Борджиа⁴⁴! А кем ему еще быть? И знаешь, такая была вечеринка! Такое говорят, что ушам не веришь! Но ты же понимаешь, это Винанд, ему все можно! А на другой день он знаешь что придумал? Притащился с целым выводком детишек, которые, видишь ли, никогда не видели австрийской деревни, филантроп хренов! А потом забил все газеты фотографиями этого выдающегося события и слюнявыми статейками о ценности образования. Конечно, тут же получил кучу восторженных писем от женских клубов! Хотел бы я знать, что он станет делать с деревней, когда даст отставку Лили. А это скоро произойдет, поверь мне, они у

⁴⁴ ...в костюме Чезаре Борджиа! – Чезаре Борджиа (Борджа; ок. 1475–1507 г.), представитель знатного итальянского рода испанского происхождения, сын Родриго Борджиа (впоследствии папы Александра VI). Семейство Борджиа играло значительную роль в политических интригах эпохи. Чезаре Борджиа послужил прототипом идеального правителя в знаменитом произведении Никколо Макиавелли «О государе» (1513, опубл. в 1532 г.).

него подолгу не задерживаются. Как ты думаешь, тогда у меня с ней что-нибудь получится?

– Непременно, – сказал Китинг. – Не сомневайся. А как дела здесь, в бюро?

– Прекрасно. Как всегда. Лусиус простудился и выжрал весь мой лучший арманьяк. Ему же это для сердца вредно, да и стоит сто долларов ящик!.. Кроме всего прочего, Лусиус влип в мерзкую историю. И все из-за этой его мании, фарфора, будь он неладен! Пошел, понимаешь, и купил чайничек у скупщика краденого. А ведь прекрасно знал, что товарец-то ворованный! Пришлось мне попотеть, чтобы избавить его от публичного скандала... И кстати, я уволил твоего приятеля, как бишь его?.. Рорка.

– Да? – сказал Китинг и после секундной паузы спросил: – А за что?

– Такой наглый выродок! И где ты его откопал?

– А что произошло?

– Я, понимаешь, хотел оказать ему любезность, дать возможность показать себя. Попросил его сделать эскиз дома Фаррела, ну, ты помнишь, того самого, который Brent в конце концов спроектировал, и мы уломали Фаррела принять этот проект. Да-да, упрощенный дорический. Так вот, твой приятель наотрез отказался это делать. Идеалы у него какие-то или что-то вроде. Короче, я указал ему на дверь... Что такое? Чему ты улыбаешься?

– Так просто. Представил себе эту сцену.

– Только не проси меня принять его обратно.

– Что ты! И не подумаю.

В течение нескольких дней Китинга не покидала мысль, что надо бы навестить Рорка. Он не знал, что скажет Рорку, но смутно чувствовал, что что-то сказать надо. Но он все откладывал. В работе у него появлялось все больше уверенности, и он чувствовал, что Рорк ему не так уж и нужен. День шел за днем, а он так и не заходил к Рорку и даже испытывал некоторое облегчение от того, что теперь может спокойно забыть о его существовании.

Из окон своей комнаты Рорк видел крыши, цистерны с водой, трубы, бегущие далеко внизу автомобили. В тишине его комнаты, в праздных днях, в руках, обреченных на безделье, таилась угроза. Еще он чувствовал, что угроза, и более страшная, поднимается от раскинувшегося внизу города, словно каждое окно, каждый кусочек мостовой стали мрачными, непроницаемыми, чужими, налились молчаливой враждебностью. Но это его не беспокоило. С этой враждебностью он давно уже свыкся.

Он составил список архитекторов, чьи работы вызывали у него наименьшее омерзение, в порядке убывания достоинств, и занялся поисками работы – спокойно, методично, без гнева и без надежды. Он не задумывался, насколько мучительны для него эти дни, твердо зная одно – это надо делать.

Архитекторы, к которым он приходил, вели себя по-разному. Одни смотрели на него через стол добрым и рассеянным взглядом, всем своим видом показывая, что его стремление стать архитектором очень трогательно и похвально, но непонятно и, при всем сочувствии, достойно сожаления, как и многие иные заблуждения юности. Другие улыбались ему, плотно сжимая губы. Их, казалось, радовало само присутствие Рорка в кабинете, ведь оно лишний раз напоминало им о том, какого успеха *они* добились. Третьи холодно цедили слова, как будто его стремление было для них личным оскорблением. Четвертые разговаривали резко и коротко, самым тоном давая понять, что им, конечно, нужны хорошие чертежники, нужны постоянно, но к нему это никоим образом относиться не может, и потому не будет ли он столь любезен поубавить настырности и не вынуждать их высказаться по этому поводу более откровенно.

Это не было намеренным недоброжелательством и не основывалось на отрицательной оценке его способностей. Никто из них не считал его бездарным. Просто их совершенно не интересовало, хорош он или нет. Правда, иногда его просили показать свои работы, он протягивал их через стол, чувствуя, как мускулы руки непроизвольно сжимаются от стыда. Ощущение было таким, словно с него срывали одежду, а стыд возникал не оттого, что его голое тело выставялось на обозрение, а оттого, что его рассматривали равнодушные глаза.

Время от времени он заезжал в Нью-Джерси навестить Камерона. Они вдвоем сидели на крыльце домика, стоящего на холме. Камерон укладывался в инвалидном кресле, сложив руки на коленях поверх старого одеяла.

– Как живется, Говард? Тяжеленько?

– Нет.

– Хочешь, дам тебе письмо к одному из этих подонков?

– Нет.

И больше Камерон не заговаривал на эту тему. Ему не хотелось об этом говорить, не хотелось думать, что его ученик будет отвергнут всеми и не найдет себе места во всем огромном городе. Когда Рорк приезжал к нему, он говорил об архитектуре, говорил спокойно и уверенно, как бы на правах истинного хозяина. Они сидели вдвоем, глядя на город, раскинувшийся вдали, за рекой, на самом краю горизонта. Темнеющее небо светилось как зеленовато-синее стекло. Дома казались облаками, проступившими на этом стекле, серыми облаками, замершими на мгновение в виде правильных прямоугольников. И лишь последние лучи заходящего солнца золотили их шпили...

Текли летние месяцы, и Рорк исчерпал свой список. Когда он пошел по второму кругу, значительно его расширив, он узнал, что о нем кое-что известно, и везде выслушивал одни и те же слова, произносимые то робко, то грубо, то гневно, то почти просительно: «Вас выгнали из Стентона. Вас выгнали от Франкона». У этих разных голосов было одно общее

свойство – в них слышалось облегчение от того, что не надо принимать решение. Оно уже было принято другими.

Вечерами он сидел на подоконнике, курил, прижав ладони к стеклу. Город лежал у него под пальцами, стекло холодило кожу.

В сентябре он прочел в «Трибуне архитектора» статью Гордона Л. Прескотта, озаглавленную «Уступить дорогу новому». В ней утверждалось, что трагедия профессии архитектора заключается в тех трудностях, которые возникают на пути талантливого новичка, что в этой борьбе гибнут незамеченными великие таланты, что архитектура и сама гибнет от недостатка свежей крови и свежих идей. Автор заявлял, что поставил себе целью поиск перспективных новичков и намерен всячески поощрять их, развивать их дар, помогать им реализовать себя, как они того заслуживают. Рорк никогда не слышал о Гордоне Л. Прескотте, но в статье чувствовалась искренняя убежденность. Он позволил себе переступить порог кабинета Прескотта с некоторым проблеском надежды.

Приемная Гордона Л. Прескотта была выдержана в серых, черных и пурпурных тонах – очень смело и в то же время сдержанно и корректно. Молодая, очень привлекательная секретарша сообщила Рорку, что мистер Прескотт никого не принимает без предварительной записи, но она с величайшей радостью запишет мистера Рорка на следующую среду, на два пятнадцать. В среду, ровно в два пятнадцать, секре-

тарша с улыбкой попросила Рорка присесть и подождать всего минуточку. Без четверти пять он был допущен в кабинет Гордона Л. Прескотта.

На Гордоне Л. Прескотте был твидовый пиджак в коричневую клетку и белый мохеровый свитер с высоким воротником. Ему было тридцать пять лет, он был высок и атлетически сложен, но выражение прозорливой житейской мудрости на его лице сожительствоvalo с нежной кожей, курносым носом и пухлым ротиком типичного кумира одноклассниц. Это лицо также отличалось глубоким ровным загаром. Светлые волосы Гордона Л. Прескотта были коротко подстрижены, как у прусского офицера. Словом, вид у него был подчеркнута мужественный, подчеркнута непритязательный. Чувствовалось, что впечатление, которое он должен производить, тщательно продумано и рассчитано.

Он молча слушал Рорка; глаза его походили на секундомер, аккуратно отсчитывающий каждую секунду, затраченную Рорком на произнесение каждого слова. Первую фразу он выслушал до конца, вторую прервал, коротко бросив: «Покажите рисунки», – словно давая понять, что все, что может сказать Рорк, ему уже давно хорошо известно.

Он взял эскизы своими бронзовыми руками. И, еще не посмотрев на них, сказал:

– Да-да, как много молодых людей приходят ко мне за советом. Как много! – Он бросил взгляд на первый эскиз и поднял голову, не успев рассмотреть его. – Конечно, начи-

нающим особенно трудно ухватить связь между практическим и трансцендентным. – Он положил эскиз в низ пачки. – Архитектура в первую очередь понятие утилитарное, и проблема заключается в том, чтобы возвысить принцип прагматизма до уровня эстетической абстракции. Все прочее – чепуха. – Он скользнул взглядом еще по двум эскизам и тоже положил их под низ. – Терпеть не могу фантазеров, которые воспринимают архитектуру ради архитектуры как некий священный крестовый поход. Великий динамический принцип – это общий принцип. – Он бегло посмотрел очередной эскиз и положил его на место. – Окончательным критерием для художника являются вкусы и симпатии публики. Гений – это тот, кто умеет выразить всеобщее. Незаурядность заключается в том, чтобы научиться использовать заурядное. – Он взвесил стопку листов на ладони, увидел, что проглядел уже половину, и положил их на стол. – Ах да, – сказал он. – Ваши работы. Очень интересно. Но непрактично. Незрело. Нет внятности и дисциплины. Взрослости не хватает. Оригинальность ради оригинальности. Совсем не отвечает духу времени. Если хотите составить представление, в чем примерно общество нуждается сегодня особенно остро, вот смотрите. – Он вытащил из ящика стола рисунок. – Этот молодой человек пришел ко мне без всяких рекомендаций, желторотый новичок, никакого опыта работы. Когда научитесь создавать нечто подобное, у вас больше не будет необходимости искать работу. Я взглянул на этот его единствен-

ный эскиз и немедленно взял его к себе, на целых двадцать пять долларов в неделю. Нет ни малейшего сомнения, что он – потенциальный гений.

Он протянул эскиз Рорку. На рисунке был изображен дом в виде силосной башни, в котором непостижимым образом проступали черты Парфенона, предельно упрощенного и будто страдающего дистрофией.

– Вот, – сказал Гордон Л. Прескотт, – это и есть оригинальность, новое в вечном. Старайтесь стремиться к чему-то подобному. Честно говоря, я не могу предсказать вам великое будущее. Будем откровенны. Я не хотел бы своим авторитетом породить у вас иллюзии. Вам еще многому надо учиться. Сейчас я не взялся бы гадать, какой у вас талант и как он может развиваться в будущем. Но если вы будете упорно трудиться, возможно... Однако архитектура – тяжелая профессия, и конкуренция в ней очень велика, очень... А теперь, с вашего позволения, меня ждут другие посетители...

Поздним октябрьским вечером Рорк возвращался домой. Кончался еще один из вереницы дней, растянувшихся в месяцы. Он затруднился бы припомнить, что было с ним сегодня, с кем он встречался, в какой форме получил отказ. Все его силы сосредоточивались на тех нескольких минутах, когда он попадал в очередной кабинет. Это надо было сделать, а когда все было позади, это его больше не касалось. Возвращаясь домой, он вновь обретал свободу.

Перед ним вытянулась длинная улица. Ряды домов, как высокие речные берега, сходились впереди так близко, что ему казалось, будто он может расправить руки и, ухватившись за шпили, раздвинуть дома. Он шел стремительно; мостовая, словно трамплин, подбрасывала его вперед на каждом шагу.

Он увидел освещенный бетонный треугольник, висящий в нескольких сотнях футов над землей. Он не видел, что находилось ниже и служило треугольнику опорой, и поэтому мог представить себе все что угодно, все, что поместил бы туда сам. И внезапно он подумал, что сейчас, в этот самый момент, в глазах всего города, всех людей на земле, ему, Говарду Рорку, не суждено что-либо построить. Никогда – а ведь он еще и не начал. Этому он мог противопоставить лишь непоколебимую внутреннюю уверенность, что строить он будет. Он пожал плечами. Все, что происходит с ним в чужих кабинетах, лишь явления второго порядка, незначительные эпизоды на том пути, сути которого не дано ни понять, ни ощутить никому из хозяев этих кабинетов.

Он свернул в боковую улочку, ведущую к Ист-Ривер⁴⁵. Далеко впереди красным пятном в тусклом сумраке горел одинокий светофор. Старые дома прижимались к земле, согнувшись под тяжестью неба. Улица была пуста; его шаги разносились гулким эхом. Он шел с поднятым воротником,

⁴⁵ *Ист-Ривер* – река, отделяющая районы Нью-Йорка Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Квинса.

заложив руки в карманы. Когда он проходил мимо фонаря, из-под его каблуков выростала тень и проносилась по стене длинной черной стрелой – так проносится по лобовому стеклу автомобиля стеклоочиститель.

IX

Джон Эрик Снайт просмотрел рисунки Рорка, отложил в сторону три из них, собрал в ровную стопку остальные, вновь просмотрел три отложенных, тремя резкими хлопками положил их один за другим поверх стопки и сказал:

– Сильно. Радикально, но сильно. Вечером что поделываете?

– А что? – спросил ошеломленный Рорк.

– Вы свободны? Не возражаете начать прямо сейчас? Снимите пальто, пройдите в чертежную, позаимствуйте у кого-нибудь инструмент и быстренько сообразите мне набросок универмага, который мы перестраиваем. Наскоро, в самых общих чертах, но чтобы завтра все было у меня на столе. Допоздна поработать не против? Батареи работают, а я распоряджусь, чтобы Джо принес вам чего-нибудь на ужин. Кофе хотите, виски или еще чего? Только скажите Джо, он все достанет. Так останетесь?

– Да, – не веря своим ушам, сказал Рорк. – Я всю ночь могу работать.

– Чудесно! Замечательно! Как раз камероновца мне и недоставало. Остальные у меня уже есть. Да, сколько вам у Франкона платили?

– Шестьдесят пять.

– Я не Гай-эпикурец и такой роскоши позволить себе не

могу. Максимум пятьдесят. Годится? Отлично. Приступайте. Я велю Биллингу ввести вас в курс дела насчет универмага. Я хочу чего-нибудь современного. Понимаете? Современного, необычного, безумного, чтобы у всех глаза повылазили. Не сдерживайте себя. Валяйте во все тяжкие. Выкиньте любой номер, который придет вам в голову, чем безумнее, тем лучше. Пошли!

Джон Эрик Снайт стремительно вскочил на ноги, широко распахнул дверь в гигантских размеров чертежную, влетел туда, наткнулся на кульман, остановился и сказал полному мужчине с мрачным лунообразным лицом:

– Биллингс, это Рорк, наш модернист. Покажи ему бентоновский универмаг. Выдай инструмент. Оставь ему ключи и покажи, что надо запереть перед уходом. Считай его в штате с сегодняшнего утра. Пятьдесят в неделю. Во сколько у меня встреча с братьями Долсон? Уже опаздываю. Пока. Сегодня больше не вернусь.

Он выбежал и хлопнул дверью. Биллингс не выказал ни малейшего удивления. Он посмотрел на Рорка так, словно тот работает здесь с незапамятных времен, и заговорил бесстрастно, усталым и протяжным голосом. Через двадцать минут он оставил Рорка один на один с кульманом, выдав ему бумагу, карандаши, инструменты, набор планов и фотографий универмага, таблицы и длинный список инструкций.

Сжимая в кулаке тонкий ствол карандаша, Рорк долго смотрел на лежащий перед ним чистый лист белой бумаги.

Он положил карандаш и снова взял его, тихонько поглаживая большим пальцем гладкую поверхность. Он заметил, что карандаш дрожит. Он быстро положил карандаш, разозлившись на себя за непростительную слабость, ведь он позволил себе отнестись к этой работе как к чему-то жизненно важному. Еще его разозлило внезапное осознание того, во что в действительности обошлись ему долгие месяцы безделья. Кончики его пальцев были прижаты к бумаге, как будто бумага не отпускала их, как не отпускает случайно прикоснувшегося к нему человека оголенный электрический провод. Не отпускает и причиняет боль. Оторвав пальцы от бумаги, Рорк приступил к работе...

Джону Эрику Снайту было пятьдесят лет. На лице его застыло хитро-довольное выражение, одновременно пронизательное и порочное, будто с каждым, с кем он общается, его связывает некая постыдная тайна, о которой не стоит упоминать, поскольку тайна эта очевидна для обоих. Он был выдающимся архитектором, говоря об этом факте, Снайт не менял выражения лица. Гая Франкона он считал непрактичным идеалистом. Самого Снайта никакие классические догмы не сдерживали. Его взгляды и приемы отличались завидной широтой – он строил все. К модернистской архитектуре он не испытывал ни малейшей неприязни и охотно строил, если какой-нибудь редкий заказчик того желал, прямоугольные коробки с плоскими крышами. Этот стиль он называл прогрессивным. Строил он и особняки в романском стиле,

который именовал утонченным, и готические церкви – это у него называлось одухотворенным. Для него между всеми этими зданиями не было никакой разницы. Злился он, только когда его называли эклектиком.

У него была собственная система. На него работало пять проектировщиков разного типа, и он устраивал между ними состязание по каждому полученному заказу. Он сам определял проект-победитель и совершенствовал его с помощью деталей, позаимствованных из других четырех проектов.

– Одна голова хорошо, – говаривал он, – а шесть лучше.

Когда Рорк увидел окончательный проект универмага Бентона, он понял, почему Снайт не побоялся нанять его. Он узнал свою планировку пространства, свои окна, свою систему циркуляции воздуха. Но вдобавок увидел коринфские капители, готические своды, колониальные люстры и немыслимую лепнину, в которой было что-то мавританское. Рисунок был выполнен акварелью с поразительным изяществом, наклеен на картон и прикрыт тончайшим слоем мягкой гофрированной бумаги. Служащим позволялось взглянуть на рисунок только с безопасного расстояния, предварительно вымыв руки. Курить в одной комнате с рисунком строжайше запрещалось. Джон Эрик Снайт придавал огромное значение тому, чтобы рисунок, который следовало передать заказчику, имел безупречный вид. Он даже нанял молодого китайца, изучающего архитектуру, исключительно для создания этих шедевров.

Рорк понял, чего можно ожидать от работы здесь. Он никогда не увидит своих произведений воплощенными целиком, а только отдельные их части, чего он предпочел бы не видеть вовсе. Но при этом он всегда будет волен проектировать так, как ему хочется, и приобретет опыт решения конкретных задач. Это было меньше, чем ему хотелось, но больше, чем он был вправе ожидать. Он принял такое положение вещей. Познакомившись с коллегами, четырьмя вечными конкурсантами, он узнал, что у каждого из них свое прозвище. Одного звали Классиком, другого – Готиком, третьего – Возрожденцем, а четвертого – Универсалом. Когда Рорка окликали «Эй, Модернист!», он слегка морщился.

Забастовка, объявленная профсоюзом строителей, приводила Франкона в ярость. Поначалу она была направлена против подрядчиков, строящих здание отеля «Нойес Белмонт», но вскоре распространилась на все стройки города. В печати упоминалось, что архитектором «Нойес Белмонт» является фирма «Франкон и Хейер».

Большая часть прессы лишь способствовала разрастанию конфликта, призывая подрядчиков не идти ни на какие уступки бастующим. Самые громкие нападки на забастовщиков раздавались со страниц крупных газет, принадлежащих мощной корпорации Винанда.

«Мы всегда выступали, – говорилось в винандовских передовицах, – за права простого человека и против жадных

акул, погрязших в привилегиях. Но мы не можем оказывать поддержку нарушителям закона и порядка». Так и осталось невыясненным, то ли газеты Винанда оказали решающее воздействие на общественное мнение, то ли наоборот. Не вызывало сомнения лишь то, что между газетами и мнением публики существует поразительное единодушие. Однако никто, за исключением очень немногих, к числу которых относился и Гай Франкон, не знал, что Винанд является владельцем корпорации, которая, в свою очередь, владеет корпорацией, которой принадлежит отель «Нойес Белмонт».

Это лишь добавляло неприятностей Франкону. По слухам, операции Гейла Винанда с недвижимостью были несравненно масштабнее всей его газетной империи. И Франкон, впервые получивший заказ, исходивший, по сути дела, от Винанда, с жадностью ухватился за него, приняв во внимание те возможности, которые этот заказ может перед ним открыть. Он и Китинг вложили все силы и способности в проект роскошнейшего дворца в стиле рококо для будущих постояльцев, которые могут выложить за номер двадцать пять долларов в день и которым безумно нравятся гипсовые цветы, мраморные купидоны и открытые лифты, украшенные ажурным бронзовым литьем. Забастовка могла перечеркнуть все блистательные перспективы. Франкон был никоим образом не причастен к возникновению забастовки, но никто не взялся бы предугадать, кого Гейл Винанд сочтет главным виновником и на каком основании. Винанд славил-

ся непредсказуемыми и необъяснимыми зигзагами в своих симпатиях и антипатиях, и было хорошо известно, что очень немногие архитекторы, получившие первый заказ от Винанда, получали от него и второй.

Мрачное настроение Франкона довело его до того, что он начал срывать злость на единственном человеке, который прежде был полностью от этого избавлен, – на Питере Китинге. Тот лишь пожимал плечами и молча, но вызывающе поворачивался к Франкону спиной. Затем Китинг бесцельно слонялся по комнатам, рыча на молодых чертежников без малейшего повода с их стороны. В дверях он столкнулся с Лусиусом Н. Хейером и рывкнул: «Смотри, куда прешь!» Хейер лишь посмотрел вслед Китингу, моргая от изумления.

На работе делать было нечего, говорить – тем более. Общение с кем-либо не обещало ничего хорошего. Китинг рано ушел с работы и в холодных декабрьских сумерках направился домой.

Дома он вслух обругал густой запах краски, исходивший от перегретых батарей; обругал холод, когда мать открыла окно. Он не мог найти причины своего взвинченного состояния. Возможно, дело в том, что из-за неожиданного простоя в работе он оказался предоставлен самому себе. Он терпеть не мог оставаться наедине с собой.

Он сорвал телефонную трубку и позвонил Кэтрин Хейлси. Ее чистый голосок словно прохладной ласковой рукой провел по его разгоряченному лбу. Он сказал:

- Ничего серьезного, милая. Просто захотел узнать, будешь ли ты дома. Я хотел бы заскочить после ужина.
- Конечно, Питер, я буду дома.
- В половине девятого подходит?
- Да... Питер, ты слышал про дядю Эллсворта?
- Да, черт возьми, слышал я про твоего дядю Эллсворта!.. Прости меня, Кэти, прости, дорогая. Я не хотел грубить тебе, но я весь день только и слышу, что про твоего дядю Эллсворта. Понимаю, что все это замечательно и так далее, только давай сегодня вечером не будем больше говорить про дядю Эллсворта!
- Конечно, не будем. Извини. Я понимаю. Так я жду тебя.
- До скорой встречи, Кэти.

Он слышал последние сведения об Эллсворте Тухи, но ему очень не хотелось думать о них, потому что это возвращало его к неприятной теме забастовки. Полгода назад, на волне успеха «Проповеди в камне», Эллсворт Тухи подписал контракт на ведение ежедневной колонки «Вполголоса», одновременно публиковавшейся сразу в нескольких газетах Винанда. Поначалу колонка появилась в «Знамени» как искусствоведческая, но затем переросла в некое подобие трибуны, с которой Эллсворт М. Тухи выносил свои вердикты по вопросам искусства, литературы, нью-йоркских ресторанов, международных кризисов и социологии – преимущественно социологии. Колонка пользовалась огромным успе-

хом. Но забастовка строителей поставила Эллсворта М. Тухи в неловкое положение. Он не скрывал своих симпатий к забастовщикам, но ничего не говорил о забастовке в своей колонке, поскольку в газетах, принадлежащих Гейлу Винанду, лишь один человек обладал правом говорить, что ему вздумается, – сам Гейл Винанд. Тем не менее на этот вечер был назначен массовый митинг в защиту забастовщиков. На нем должны были выступить многие знаменитости, включая и Эллсворта Тухи. Во всяком случае, его имя было объявлено.

Это событие породило множество самых разных предположений. Даже заключались пари – хватит ли у Тухи смелости показаться на митинге? Китинг слышал, как один чертежник с пеной у рта настаивал:

– Он придет и выступит. Пожертвует собой. Он такой. Это единственный честный человек из всех, кто пишет в газетах.

– Не выступит, – говорил другой чертежник. – Представляешь, что значит пойти против самого Винанда? Да если Винанд на кого зуб заимеет, он того в порошок сотрет, будь уверен. Никто не знает, когда и как он это сделает, но уж точно сделает, и никто под него не подкопается. Если кто настроил против себя Винанда, может считать себя конченным человеком.

Китингу все это было глубоко безразлично и вызывало только раздражение.

В тот вечер он поужинал в мрачном молчании, а когда

миссис Китинг начала со своего обычного: «Да, кстати...», намереваясь повести разговор в знакомом ему до боли русле, он огрызнулся:

– Ты ни слова не скажешь о Кэтрин. Ни слова.

Миссис Китинг не произнесла больше ни слова и сосредоточила все усилия на том, чтобы втиснуть в сына как можно больше пищи.

Он домчался на такси до Гринвич-Виллидж, взлетел по лестнице, дернул за колокольчик и принялся нетерпеливо ждать. Никто не отвечал. Он долго звонил, прислонившись к стене. Кэтрин не могла уйти, зная, что он придет. Это просто невозможно. В полном недоумении он спустился по лестнице, вышел на улицу и посмотрел на окна ее квартиры. Окна были темны.

Он стоял, глядя на окна, и чувствовал, как чудовищно его предали. Затем возникло тошнотворное чувство одиночества, словно он оказался бездомным в огромном городе. На мгновение он забыл собственный адрес, будто того места не существовало вовсе. Потом он вспомнил о митинге – колоссальном массовом митинге, где ее дядя будет сегодня вечером публично приносить себя в жертву. «Вот куда она пошла, – понял он. – Идиотка чертова!»

– Да пропади она пропадом! – сказал он вслух и быстро зашагал по направлению к залу, где должен был проводиться митинг.

Над квадратным проемом входа в зал горела одинокая

лампочка, испускающая зловещий голубовато-белый свет, слишком яркий и холодный. Его лучики прыгали в уличной темноте по тонким, словно хрустальные шпаги, струйкам дождя, сбегаящим с карниза крыши. Китингу ни с того ни с сего вспомнились рассказы о людях, которые погибли, пронзенные упавшими сосульками. Вокруг входа прямо под дождем теснились несколько безразлично-любопытствующих зевак и группка полицейских. Дверь была открыта. Утопающий во мраке вестибюль был забит теми, кому не удалось пробраться в зал. Люди внимательно слушали репродуктор, установленный здесь по такому случаю. У входа три смутные тени раздавали прохожим листовки. Одна из этих теней оказалась небритым молодым человеком чахоточного вида, с длинной и тонкой шеей. Вторым был аккуратный юнец в дорогом пальто с меховым воротником. Третьей оказалась Кэтрин Хейлси.

Она стояла под дождем, сгорбившись, расслабив от усталости мышцы живота. Нос ее лоснился, в глазах горел радостный огонь. Она улыбнулась без всякого смущения и весело сказала:

- Питер! Как мило, что ты пришел!
- Кэти... – Он слегка поперхнулся. – Кэти, какого черта...
- Но я должна, Питер. – В голосе ее не было ни тени вины. – Ты этого не поймешь, но я...
- Не стой под дождем. Зайди внутрь.
- Но я не могу. Я должна...

– Хотя бы уйди с дождя, глупышка! – Он решительно втолкнул ее через дверь в уголок вестибюля.

– Питер, милый, ты ведь не сердишься, правда? Понимаешь, как все получилось... Я думала, что дядя не разрешит мне сегодня сюда приходить, но в последний момент он сказал, что я могу прийти, если хочу, и могу помочь раздавать листовки. Я знала, что ты все поймешь, и оставила тебе записку на столике в гостиной. Я там написала, что...

– Ты оставила мне записку? *Дома*?!

– Да... Ой... Ой, мамочки, мне и в голову не пришло. Ты же не мог зайти в квартиру. Конечно же. Какая я дура! Но я так торопилась! Нет, ты только не сердись, ладно? Нельзя сердиться! Разве ты не понимаешь, как это важно для дяди? Разве ты не понимаешь, чем он жертвует, придя сюда? Но я не сомневалась, что он поступит именно так. Я так и сказала тем людям, которые говорили, что он не придет, что это означало бы его конец. Но даже если и так, его это не остановит. Он такой! Я и боюсь за него, и очень горжусь его смелым поступком. Он возродил во мне веру в человечество. Но я боюсь, потому что, понимаешь, Винанд обязательно...

– Молчи! Я все это знаю. Осточертело! Слышать больше не желаю про твоего дядю, про Винанда, про забастовку эту чертову. Пошли отсюда.

– Нет, Питер! Нельзя! Я хочу услышать его речь и...

– Эй вы там, заткнитесь! – прошипел кто-то из толпы.

– Мы так все пропустим, – прошептала она. – Сейчас

выступает Остин Хэллер. Разве тебе не хочется послушать Остина Хэллера?

Китинг посмотрел на громкоговоритель с некоторым уважением, которое вызывали в нем известные всем имена. С публикациями Остина Хэллера он был знаком не очень хорошо, но знал, что Остин Хэллер является ведущим обозревателем «Кроникл», блистательной независимой газеты, непримиримого противника изданий Винанда. Он знал, что Хэллер – выходец из старинной, очень известной семьи, выпускник Оксфорда. Начав как литературный критик, Хэллер стал тихим маньяком, одержимым идеей разрушения любых форм принуждения, частных или государственных, на небе и на земле. Его проклинали проповедники, банкиры, активистки женских клубов и профсоюзные лидеры. Его манеры были много изысканнее манер светской элиты, которую он высмеивал, а телосложение намного крепче, чем у рабочих, которых он обычно защищал. Он с полным пониманием дела рассуждал и о последней бродвейской премьере, и о средневековой поэзии, и о международной финансовой системе. Он ни гроша не давал на благотворительность, но почти все свои средства тратил на защиту политических заключенных во всем мире. Все это было хорошо известно Китингу.

Из громкоговорителя раздавался сухой, размеренный голос с едва уловимым британским акцентом.

– ...мы также должны принять во внимание, – бесстрастно говорил Остин Хэллер, – что поскольку, *увы*, мы вынуж-

дены жить в обществе, то для нас необычайно важно не забывать, что чем меньше будет каких бы то ни было законов, тем больше будет порядка.

Я не вижу никакой этической мерки, которой можно было бы измерить бесконечную аморальность самой концепции государства. Ее можно лишь приблизительно оценить тем временем, физическим и интеллектуальным напряжением, повиновением, наконец, деньгами, которые государство силой выжимает из каждого из своих подданных. Ценность общества и степень его цивилизованности находятся в обратной пропорции к его уверенности в необходимости такой силы. Ничем нельзя оправдать закон, по которому свободного человека можно заставить работать вообще или не на тех условиях, которые он сам выбрал. Ничем нельзя оправдать закон, по которому свободный человек лишается права выбирать. С другой стороны, недопустимо навязывать условия работника работодателю – тот сам волен соглашаться или не соглашаться. Свобода соглашаться или не соглашаться – основа истинно свободного общества. И частью этой свободы является свобода бастовать. Я говорю об этом лишь в порядке возражения некоему патрицию из трущоб Адской Кухни, лощеному выродку, который в последнее время весьма шумно вещает всем нам, что эта забастовка является нарушением и дискредитацией закона и порядка.

Из громкоговорителя донесся высокий, пронзительный гул одобрения и шквал аплодисментов. Кэтрин ухватила Ки-

тинга за руку.

– Ой, Питер! – прошептала она. – Он же говорит о Винанде! Винанд родился в Адской Кухне. Он-то может себе позволить говорить такое, но Винанд отыграется на дяде Эллсворте!

Китинг не мог толком послушать окончание речи Хэллера – у него дико разболелась голова и любые звуки вызывали такую боль в глазах, что ему пришлось плотно закрыть их. Он привалился к стене.

Китинг резко открыл глаза, скорее почувствовав, чем услышав вокруг какую-то странную тишину. Он не заметил, когда Хэллер закончил выступление. Он увидел, что люди в вестибюле замерли в напряженном и отчасти торжественном ожидании, а сухое потрескивание громкоговорителя приковывает все взгляды к его темной горловине. Потом тишину разорвал отчетливый неторопливый голос:

– Дамы и господа! Мне выпала величайшая честь представить вам мистера Эллсворта Монктона Тухи!

«Что ж, – подумал Китинг. – Свои полторы монеты Беннет выиграл». Последовало несколько секунд молчания. То, что началось затем, дикой болью ударило Китинга по затылку. Это был не гром, не толчок, не взрыв – *это* было нечто разорвавшее саму ткань времени, нечто отрезавшее *это* мгновение от предшествовавшего ему совершенно обычного. Вначале Китинг почувствовал только удар и лишь потом, по прошествии целой отчетливо осознаваемой секунды, понял, что

это, собственно, такое. Аплодисменты. Овация столь бурная, что Китингу показалось, будто громкоговоритель сейчас взорвется. Овация не стихала, она распирала стены вестибюля, – Китингу показалось, что они начинают опасно выгибаться наружу. Окружающие его люди орали: «Ура!» Кэтрин стояла, приоткрыв рот, и Китинг не сомневался, что она в этот момент даже не дышала.

Прошло очень много времени, и внезапно стало тихо. Тишина наступила столь же резко, как и предшествующие ей рев и шум, и произвела столь же ошеломляющее действие. Громкоговоритель стих, подавившись на высокой ноте. Стоящие в вестибюле замерли. Потом послышался голос.

– Друзья мои! – произнес он просто и серьезно. – Братья мои! – добавил он тихо и как бы невольно, одновременно и исполненный чувств, и словно со смиренной улыбкой просящий извинения за проявление этих чувств. – Я более чем тронут вашим приемом. Я надеюсь, что вы извините меня за эту малую толику ребяческого тщеславия, которое живет в каждом из нас. Но я понимаю – и в этом смысле принимаю – ваши аплодисменты как дань не моей персоне, а тому принципу, счастье представлять который сегодня выпало мне, и я покорно принимаю это счастье.

Это был не голос. Это было истинное чудо. Разворачиваясь подобно бархатному знамени, волшебные звуки складывались в английские слова, но звучность и чистота каждого слога создавали впечатление, будто слова эти произносятся

на некоем новом языке и звучат впервые. То был голос титана.

Китинг застыл с раскрытым ртом, не слыша, о чем говорит этот голос. Он с головой провалился в мелодию и ритм речи, не вдаваясь в ее содержание, не чувствуя ни малейшей необходимости вникать в ее смысл. Он готов был принять все, слепо пойти за этим голосом куда угодно.

– ...итак, друзья мои, – говорил волшебный голос, – урок, который нам следует извлечь из нашей трагической борьбы, – это урок единения. Мы объединимся или будем побеждены. Наша воля, воля обездоленных, забытых, угнетенных, сольет нас в мощный поток, с единой верой и единой целью. Настало время каждому из нас отвергнуть мысли о своих мелких личных проблемах, мысли о богатстве, комфорте, самоудовлетворении. Настало время влить свое Я в единый всемогущий поток, в непобедимую приливную волну, которая всех нас, желающих и нежелающих, унесет в великое будущее. История, друзья мои, не задает нам вопросов, не спрашивает нашего согласия. Она неотвратима, как и голос народных масс, определяющий ее ход. Прислушаемся же к призыву истории. Сплотимся, братья. Сплотимся. Сплотимся.

Китинг посмотрел на Кэтрин. Кэтрин не было. Осталось только белое лицо, тающее в звуках громкоговорителя. И дело было не в том, что она слушала своего дядю. Китинг не мог заставить себя почувствовать к нему ревность, хотя ему

этого очень хотелось. Дело было не в том, что ее переполняли чувства. Нет, ее опустошало что-то холодное и безликое, волю ее сковала не воля другого человека, а безымянное Нечто, которое поглощало ее.

– Пойдем отсюда, – прошептал он. От непреодолимого чувства страха голос ему не подчинялся.

Она повернулась к нему, словно приходя в себя после глубокого обморока. Он понял, что она напрягает все силы, стараясь узнать того, кто стоит с ней рядом, и понять, что он говорит. Она прошептала:

– Да. Пойдем отсюда.

Они пошли пешком, под дождем, без определенного направления. Было холодно, но они все шли – лишь бы двигаться, лишь бы ощущать движение собственных мышц.

– Мы промокли до нитки, – сказал Китинг, придавая голосу всю простоту и естественность, на которые был в тот момент способен. Молчание пугало его. Оно показывало, что они оба чувствуют одно и то же и что чувство это отнюдь не иллюзорно. – Пойдем куда-нибудь, где можно выпить.

– Да, – сказала Кэтрин. – Пойдем. Очень холодно... Какая же я дура! Вот, пропустила речь дяди, а ведь так хотела послушать.

Теперь все нормально. Она первая заговорила об этом, заговорила так естественно, с совершенно нормальной примесью сожаления. Холодный, безликий призрак исчез.

– Но я хотела быть с тобой, Питер... Я хочу быть с тобой

всегда.

Призрак дернулся в последний раз – не в самих ее словах, а в том, что вызвало эти слова, – и растаял окончательно. Китинг улыбнулся. Его пальцы нащупали запястье Кэтрин между краешком рукава и перчаткой. Ее кожа согрела его озябшие пальцы...

Много дней спустя Китинг услышал историю, которую рассказывали по всему городу. Рассказывали, что на следующий день после митинга Гейл Винанд увеличил жалованье Эллсворту Тухи. Тухи пришел в ярость и попытался отказаться. «Подкупить меня вам не удастся, мистер Винанд!» – заявил он. «Я вас не подкупаю, – ответил Винанд. – Не льстите себе этой мыслью».

Когда забастовка закончилась соглашением, прерванное строительство возобновилось по всему городу с удвоенной энергией. Китинг снова проводил дни и ночи на работе. Заказы текли рекой. Франкон радостно улыбался всем и каждому и устроил небольшую пирушку для своих служащих, чтобы в их памяти стерлись все гадости, которые он успел им наговорить. Наконец завершилось строительство особняка-дворца для мистера и миссис Дейл Айнсворт, в проект которого (позднее Возрождение и серый гранит) Китинг вложил всю душу. Мистер и миссис Дейл Айнсворт устроили в своей новой резиденции официальный прием, на который пригласили Гая Франкона и Питера Китинга, совершенно за-

быв про Лусиуса Н. Хейера, что в последнее время случилось довольно часто. Франкону прием понравился чрезвычайно – ведь в этом доме каждый квадратный фут гранита напоминал ему о кругленькой сумме, полученной некоей каменоломней в Коннектикуте. Китингу прием тоже понравился – ведь величественная миссис Айнсворт заявила ему с неотразимой улыбкой: «Но у меня *не было и тени сомнения*, что партнер мистера Франкона именно вы! Ну конечно же, “Франкон и Хейер”! Непростительная оплошность с моей стороны. В качестве оправдания могу лишь сказать, что если вы и не партнер мистера Франкона, то, несомненно, имеете на это *все права!*» Жизнь в бюро текла гладко; настал один из тех периодов, когда спорится все.

Поэтому Китинг был неприятно поражен, когда однажды утром, вскоре после приема у Айнсвортов, Франкон приехал в бюро в состоянии нервном и раздраженном. «Ничего не случилось, – отмахнулся он от Китинга. – Сущие пустяки!» В чертежной Китинг заметил трех чертежников, которые, сдвинув головы, склонились над страничкой нью-йоркского «Знамени» и с жадным, несколько виноватым интересом вчитывались в нее. Один из них усмехнулся самым неприятным образом. Когда они увидели Китинга, газета стремительно исчезла – слишком стремительно. У него не было времени разбираться: в кабинете его ждал курьер от подрядчика, не говоря о почте и кипе чертежей, которые надо было одобрить.

Погрузившись в дела, он через три часа начисто забыл о происшествии. Он чувствовал себя легко, голова была ясной, он упивался собственной энергичностью. Когда ему понадобилось сходить в библиотеку, чтобы сравнить новый проект с его предшественниками, он вышел из своего кабинета, насвистывая и весело помахивая эскизом.

Он по инерции прошагал половину приемной и... замер на месте. Эскиз качнулся вперед и опустился, хлопнув его по коленям. Он совершенно забыл, что при его положении ему не пристало задерживаться здесь.

Перед барьерчиком, разговаривая с секретаршей, стояла молодая женщина. Ее стройное тело казалось совершенно непропорциональным по сравнению с обычным человеческим телом. Все его линии были слишком длинными, слишком хрупкими и настолько откровенными, что она казалась стилизованным изображением женщины, рядом с которым обычные человеческие пропорции представляются неуклюжими и тяжеловесными. На ней был строгий серый костюм. Контраст между суровой простотой костюма и поразительной внешностью женщины был продуманно бросающимся в глаза – но при всей необычности лишь подчеркивал ее элегантность. Ее узкая ладонь лежала на барьерчике, соприкасаясь с ним лишь кончиками пальцев. Ее серые глаза были не овалами, а узкими прямоугольниками, окаймленными параллельными прямыми ресниц. Она держалась спокойно и уверенно, у нее был поразительно красивый, несколько по-

рочный рот. Возникало впечатление, что и лицо ее, и светло-золотистые волосы, и костюм не имеют цвета, а лишь легкие, воздушные, призрачные оттенки, на фоне которых реальные цвета и предметы казались вульгарными. Китинг не мог пошевелиться: он впервые понял, что имеют в виду художники, когда говорят о красоте.

– Он примет меня или сейчас, или никогда, – говорила она секретарше. – Он сам попросил меня прийти, а другой свободной минуты у меня не будет. – Это даже не было приказанием. Женщина говорила так, словно никогда не испытывала надобности придавать своему голосу повелительные интонации.

– Да, но... – На селекторе, стоявшем у секретарши на столе, загорелась лампочка. Она поспешно подсоединила провод. – Да, мистер Франкон... – Она слушала и облегченно кивала. – Да, мистер Франкон. – Обернувшись к посетительнице, она сказала: – Будьте любезны, пройдите, пожалуйста.

Молодая женщина повернулась и, проходя по направлению к лестнице мимо Китинга, взглянула на него. Ее взгляд на нем не задержался. Из состояния умопомрачительного восхищения, с которым Китинг смотрел на нее, исчезла какая-то важная составляющая – у него было время заглянуть ей в глаза. Они выглядели усталыми и немного презрительными, но у него они оставили ощущение холодной жестокости.

Это ощущение исчезло, когда он услышал ее шаги на лест-

нице. Восхищение же осталось. Он подошел к столу секретарши в приподнятом настроении.

– Кто это такая? – спросил он. Секретарша пожалала плечами:

– Девочка босса.

– Ну и счастливчик! – воскликнул Китинг. – Надо же, а мне ни слова!

– Вы меня не поняли, – холодно сказала секретарша. – Это его дочь. Доминик Франкон.

– Да? – сказал Китинг. – О Господи!

– Вот так. – Девушка саркастически посмотрела на него. – Вы читали утренний выпуск «Знамени»?

– Нет. А что?

– Прочтите.

Загудел селектор, и секретарша отвернулась от Китинга.

Он отправил посыльного за номером «Знамени» и, получив газету, незамедлительно обратился к рубрике «Наш дом» (ведущая Доминик Франкон). Он слышал, что ее рассказы о домах известных жителей Нью-Йорка пользуются большой популярностью. Она специализировалась на интерьере, но время от времени позволяла себе вторгаться в область архитектурной критики. Сегодня предметом ее рассмотрения стала новая резиденция мистера и миссис Дейл Айнсворт на Риверсайд-драйв⁴⁶. Среди прочего Китинг про-

⁴⁶ *Риверсайд-драйв* – улица близ Риверсайд-парка в Нью-Йорке, расположенного вдоль реки Гудзон.

чел следующее:

«Вы входите в величественный вестибюль из золотистого мрамора, и у вас возникает впечатление, что вы оказались в мэрии или на центральном почтамте, но это не так. Тем не менее в вестибюле есть все: антресоли с колоннадой, витая лестница, явно страдающая базедовой болезнью, картуши, напоминающие застегнутые кожаные ремешки, только сделанные не из кожи, а из мрамора. Столовая оборудована роскошными бронзовыми воротами, по ошибке помещенными на потолок, в виде садовой решетки, увитой свежими побегами бронзового винограда. Со стеновых панелей свисают мертвые утки и кролики, украшенные букетами из морковки, петрушки и волокнистой фасоли. Не думаю, что в натуральном виде это было бы очень красиво, но коль скоро здесь всего лишь дурная гипсовая имитация, то все замечательно... Окна спальни выходят на кирпичную стену, довольно неприглядную, но заглядывать в спальни вовсе необязательно... Окна фасада довольно велики и дают много света, а к тому же открывают чудесный вид на ноги мраморных купидонов, примостившихся снаружи. Купидоны эти весьма упитанны и премило смотрятся с улицы на фоне мрачного серого гранита, которым отделан фасад. Они заслуживают всяческих похвал, если только вам не претит лицезреть их пухлые пятки всякий раз, когда понадобится выглянуть на улицу и посмотреть, не идет ли дождь. Если же это зрелище вам надоест, ничто не мешает выглянуть из центрального окна третьего

этажа и для разнообразия насладиться чугунной задницей Меркурия, восседающего на фронтоне парадного подъезда. Это очень красивый подъезд. Завтра мы посетим дом мистера и миссис Смит-Пикеринг».

Дом проектировал Китинг. Но, несмотря на всю свою ярость, он не мог не усмехнуться при мысли о том, что, должно быть, чувствовал Франкон, читая это. И как теперь Франкон посмотрит в глаза миссис Дейл Айнсворт. Потом Китинг забыл и про дом, и про статью. Все его мысли сгрудились вокруг девушки, которая эту статью написала.

Схватив наугад три эскиза со своего стола, он направился в кабинет Франкона, чтобы тот их одобрил, в чем, кстати, не было никакой надобности.

На площадке перед закрытой дверью Франкона он остановился. За дверью раздавался голос Франкона, громкий, сердитый, беспомощный. Такой голос Китинг слышал всякий раз, когда Франкону случалось оказаться побежденным.

— ...такую свинью мне подложить! И кто? Родная дочь! Я уже привык ждать от тебя чего угодно, но это переходит всякие границы. Что мне теперь прикажешь делать? Как объясняться? Есть у тебя хоть малейшее представление, в какое положение ты меня поставила?

И тут Китинг услышал ее смех. Этот смех был так весел и так холоден, что Китинг понял, что лучше не входить. Он знал, что не хочет входить, потому что его вновь одолел страх, как и тогда, когда он заглянул ей в глаза.

Он развернулся и пошел вниз по лестнице. Дойдя до нижнего этажа, он вдруг подумал, что скоро, очень скоро познакомится с ней и Франкон не сможет теперь воспрепятствовать этому знакомству. Он подумал об этом с радостью, весело смеясь над тем портретом дочери Франкона, который уже несколько лет существовал в его сознании. Теперь перед ним возникла совершенно новая картина собственного будущего. И все же в глубине души он смутно ощущал, что будет гораздо лучше, если он больше никогда не увидит дочери Франкона.

X

У Ралстона Холкомба не было сколько-нибудь заметной шеи, но этот недостаток с лихвой компенсировал подбородок. Подбородок и челюсти образовывали плавную кривую, основанием которой служила грудь. Щеки у него были розовые, мягкие той дряблой мягкостью, которая приходит с возрастом и напоминает кожу ошпаренного персика. Его седая шевелюра, напоминающая длинные средневековые мужские стрижки, поднималась надо лбом и падала на плечи, оставляя на воротнике хлопья перхоти.

Он ходил по улицам Нью-Йорка в широкополой шляпе, темном деловом костюме, светло-зеленой атласной рубашке и жилете из белой парчи. Из-под подбородка выглядывал огромный черный бант. Вместо тросточки он ходил с посохом, высоким посохом из черного дерева с массивным золотым набалдашником. Создавалось впечатление, что, хотя громадное тело Холкомба и уступило нехотя обычаям прозаической цивилизации с ее блеклыми одеяниями, его грудь и живот реяли над землей, облаченные в гордые цвета знамен его души.

Все это позволялось ему, поскольку он был гений. И президент Американской гильдии архитекторов.

Ралстон Холкомб не разделял взглядов коллег по этой организации. Он не был ни бездуховным строителем-трудягой,

ни бизнесменом. Он был, как сам он твердо заявлял, человеком с идеалами.

Он гневно осуждал прискорбное состояние американской архитектуры и беспринципный эклектизм архитекторов. Он заявлял, что в любой исторический период архитекторы творили в духе своего времени, а не искали образцы для подражания в прошлом. «Мы можем сохранять верность истории, лишь подчиняясь ее законам, которые требуют, чтобы корни нашего искусства глубоко уходили в почву того времени, в котором мы живем». Он открыто выступал против сооружения зданий в греческом, готическом или романском стиле. Он призывал быть современными и строить в том стиле, который соответствует духу нашего времени. И Холкомб нашел такой стиль. Это было Возрождение.

Он четко формулировал свои принципы. Поскольку, утверждал он, в мире со времен Возрождения ничего особо выдающегося не произошло, мы должны считать себя все еще живущими в ту эпоху. И все внешние формы нашего существования должны быть верны образцам великих мастеров шестнадцатого века.

Он терпеть не мог тех немногих, кто говорил о современной архитектуре с совершенно иных позиций. Он старался их не замечать и ограничивался утверждением, что люди, которые хотят порвать со всем прошлым, суть лентяи и невежды и что никто не имеет права ставить оригинальность выше Красоты. На этом последнем слове его голос дрожал от

благоговения.

Он принимал только очень крупные заказы, будучи специалистом по Вечному и Монументальному. Он построил несчетное количество мемориалов и capitoлиев⁴⁷. Ему принадлежали проекты многих Международных выставок.

Он творил, как творят некоторые композиторы, импровизируя под воздействием неведомых высших сил. Вдохновение осеняло его внезапно. Тогда он добавлял невероятный купол к плоской крыше законченного здания, или украшал длинный свод мозаикой из золотых листьев, или скалывал с фасада штукатурку, заменяя ее мрамором. Клиенты бледнели, заикались – но платили. Его внушительная внешность неизменно выводила его в победители в любых схватках с кошельком клиента. За его спиной стояло всеобщее неколебимое и всемогущее убеждение, что он – Художник с большой буквы. Престиж его был огромен.

Он родился в семье, занесенной в «Светский альманах». В достаточно зрелом возрасте он женился на молодой даме, семья которой хоть и не доросла до «Светского альманаха», зато имела кучу денег и оставила единственной наследнице целую империю жевательной резинки.

Ныне Ралстону Холкомбу было шестьдесят пять, но он прибавлял себе еще несколько лет, чтобы почаще послуши-

⁴⁷ *Капитолии* – здания законодательных ассамблей отдельных штатов (по аналогии со зданием конгресса США в Вашингтоне). Название – от одноименного холма в Риме, на котором в древности помещался Капитолийский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве.

вать комплименты знакомых о том, как он великолепно сохранился. Миссис Ралстон Холкомб было сорок два года. Она, напротив, убавляла себе значительное количество лет.

Миссис Ралстон Холкомб держала светский салон, который собирался в неформальной обстановке каждое воскресенье.

– К нам заглядывает каждый, кто хоть что-то представляет собой в архитектуре, – говорила она подругам и прибавляла: – Пусть только попробуют не заглянуть.

В один воскресный мартовский день Китинг подъехал к особняку Холкомбов – копии некоего флорентийского палаццо⁴⁸ – послушно, но несколько неохотно. На этих прославленных приемах он был частым гостем, и они успели ему изрядно поднадоесть. Он знал всех, кого там можно встретить. Однако он чувствовал, что на сей раз ему обязательно надо там быть, поскольку этот прием был приурочен к завершению строительства очередного capitoлия, созданного гением Ралстона Холкомба в каком-то там штате.

Визитеры, хоть и многочисленные, как-то терялись в мраморной бальной зале Холкомбов. Группы их становились совсем неприметными в необъятных пространствах, рассчитанных на прямо-таки королевские приемы. Гости стояли повсюду, изо всех сил стараясь держаться неофициально и

⁴⁸ *Палаццо* – итальянский городской дворец-особняк, характерный для эпохи Возрождения, с пышным уличным фасадом и внутренним двором. Основной тип сложился во Флоренции в XV в.

чем-нибудь блеснуть. Их шаги по мраморному полу отдавались гулким эхом, как в склепе. Пламя высоких свечей отчаянно диссонировало с серым светом, пробивающимся с улицы. От этого свечи казались тусклыми, а их пламя придавало дневному свету оттенок преждевременных сумерек. На пьедестале посреди зала, сияя крошечными электрическими лампочками, возвышался макет очередного капитолия.

Миссис Ралстон Холкомб председательствовала за чайным столом. Каждый гость принимал от нее хрупкую чашечку костяного фарфора, раз-другой прихлебывал самым деликатным образом и исчезал в направлении бара. Двое статных дворецких ходили и собирали оставленные гостями чашечки.

Миссис Ралстон Холкомб была, по словам одной восторженной подруги, «миниатюрна, но интеллектуальна». От миниатюрности она втайне страдала, но научилась находить в ней и приятные стороны. Она постоянно рассказывала, не кривя душой, что носит платья очень маленького размера и может покупать одежду в детских отделах. Летом она одевалась как школьница и носила короткие носки, выставляя на всеобщее обозрение тощие ноги с затверделыми синими венами. Она обожала знаменитостей, и в этом был смысл ее жизни. Она целеустремленно за ними охотилась; знакомилась с ними, вытаращив глаза от восторга и говоря им о незначительности собственной персоны, о смирении перед теми, кто чего-то добился в жизни. Она злобно сжимала гу-

бы и поводила плечами, когда кто-то из выдающихся людей недостаточно, по ее мнению, внимательно относился к ее собственным воззрениям на жизнь после смерти, теорию относительности, архитектуру ацтеков, контроль за рождаемостью и новые фильмы. Среди ее друзей было множество бедняков, и этот факт она широко рекламировала. Если кому-то из этих друзей удавалось улучшить свое финансовое положение, она порывала с ним, чувствуя при этом, что он ее предал. Она искренне ненавидела богатых – ведь их возвышало над всеми прочими то же, что и ее. Архитектуру она считала своей вотчиной. Родители дали ей имя Констанс, но она посчитала чрезвычайно остроумным, чтобы все звали ее Кики. Это прозвище она навязала всем своим знакомым, когда ей было уже далеко за тридцать.

Китинг никогда не чувствовал себя уютно в присутствии миссис Холкомб. Она слишком настойчиво ему улыбалась, а на любую его фразу отвечала подмигиванием и словами: «Ах, Питер, какой же вы проказник!», хотя ничего похожего у него и в мыслях не было. Однако сегодня он, как обычно, с поклоном поцеловал ей руку, а она улыбнулась ему из-за серебряного чайничка. На ней было царственное вечернее платье из изумрудного бархата, а во взбитых коротких волосах застряла ядовито-красная ленточка с тошнотворным бантиком. Кожа ее была сухой и загорелой, с крупными порами, особенно на ноздрях. Она протянула Китингу фарфоровую чашечку, сверкнув при свете свечей квадратным изумрудом

на пальце.

Выразив восхищение капитолием, Китинг поспешно отошел и принялся рассматривать макет. Он выстоял перед макетом положенное число минут, обжигая губы горячей жидкостью, пахнувшей гвоздикой. Холкомб, который ни разу не взглянул в сторону макета и не упустил из виду ни единого гостя, подошедшего полюбоваться его творением, хлопнул Китинга по плечу и сказал что-то приятное о молодых людях, познающих красоту стиля эпохи Возрождения. Затем Китинг просто слонялся без дела, без особого восторга пожимая руки, и то и дело поглядывал на часы, высчитывая момент, когда уже можно будет откланяться. Вдруг он остолбенел.

В небольшой библиотеке, соединенной с залом широким арочным проемом, он увидел Доминик Франкон в окружении трех молодых людей.

Она стояла, опершись о колонну, держа в руке стакан с коктейлем. На ней был черный бархатный костюм. Плотная светонепроницаемая ткань скрадывала исходящее от ее фигуры ощущение нереальности, удерживая свет, который чересчур легко протекал сквозь ее руки, шею, лицо. В ее стакане холодным металлическим крестом застыла огненная искорка, словно стакан был линзой, собравшей в пучок исходящее от ее кожи сияние.

Китинг рванулся вперед и разыскал в толпе гостей Франкона.

– Питер! – оживленно воскликнул Франкон. – Принести тебе выпить? Не бог весть что, – добавил он, понизив голос, – но «манхэттены»⁴⁹ вполне пристойные.

– Нет, – сказал Китинг. – Спасибо.

– Entre vous⁵⁰, – сказал Франкон, подмигнув в направлении макета капитолия, – это страх божий, верно?

– Да, – сказал Китинг. – Пропорции никудышные... Купол напоминает физиономию Холкомба, изображающую восход солнца на крыше... – Они остановились лицом к библиотеке, и взор Китинга замер на девушке в черном, как бы умоляя Франкона обратить на это внимание. Он был счастлив, что Франкону теперь не отвертеться.

– А планировка? Тоже мне планировка! Заметил, на втором этаже... О! – Франкон наконец увидел, куда смотрит Китинг. Он посмотрел на Китинга, потом в направлении библиотеки, потом опять на Китинга. – Что ж, – наконец произнес он, – потом пеняй на себя. Сам напросился. Пошли.

Они вместе вошли в библиотеку. Китинг очень вежливо остановился, но во взгляде его была отнюдь не столь вежливая целеустремленность, Франкон же просиял и с весьма неубедительным оживлением произнес:

– Доминик, дорогая! Позволь тебе представить – Питер

⁴⁹ «Манхэттен» – коктейль «манхэттен» представляет собой смесь виски и вермута с добавлением небольшого количества горькой настойки и мараскиновой вишни.

⁵⁰ Между нами (франц.).

Китинг, моя правая рука. Питер, это моя дочь.

– Здравствуйте! – тихо произнес Китинг. Она с серьезным видом наклонила голову.

– Я так давно мечтал с вами познакомиться, мисс Франкон.

– Интересно получается, – сказала Доминик. – Вам, конечно, хочется быть со мной полюбезнее, но это будет крайне недипломатично.

– То есть как, мисс Франкон?

– Отец предпочел бы, чтобы вы вели себя со мной ужасно.

Мы с отцом не ладим.

– Но, мисс Франкон, я...

– Наверное, будет честно сказать вам об этом в самом начале. Возможно, вам захочется пересмотреть кое-какие из ваших умозаключений.

Китинг искал глазами Франкона, но тот исчез.

– Не надо, – тихо сказала она. – Отец совсем не умеет вести себя в подобных ситуациях. Он слишком очевиден. Вы попросили его представить вас мне, но ему не следовало давать мне это заметить. Но, коль скоро мы оба это признаем, все в порядке. Присаживайтесь.

Она опустила на диванчик, а он послушно сел рядом с ней. Незнакомые ему молодые люди постояли несколько минут с глуповатыми улыбками в надежде, что их включат в беседу, и разошлись. Китинг с облегчением подумал, что она совсем не страшная, если бы только не неприятный контраст

между ее словами и той невинно-искренней манерой, с которой она эти слова произносила. Он не знал, чему же верить.

– Признаюсь, я просил представить меня, – сказал он. – Все равно это и так заметно, согласитесь. А кто бы не попросил? Однако не кажется ли вам, что мои, как вы выражаетесь, умозаключения могут и не иметь никакого отношения к вашему отцу?

– Только не говорите мне, что я прекрасна, восхитительна, что никого похожего вы в жизни не встречали, что вы готовы влюбиться в меня. Рано или поздно вы все это скажете, но давайте отложим этот момент. Во всем прочем мы, как мне кажется, прекрасно поладим.

– Но вы намереваетесь предельно осложнить мне это дело, не так ли?

– Да. Отцу следовало бы предупредить вас.

– Он предупредил.

– А вам следовало бы его послушать. Будьте с отцом очень предупредительны. Я уже встречала столько «правых рук» отца, что у меня выработалось скептическое отношение к ним. Но вы первый, кто сумел продержаться так долго и, похоже, намерен продержаться еще дольше. Я очень много слышала о вас. Поздравляю.

– Я много лет мечтал познакомиться с вами. А рубрику вашу я читаю с таким большим... – Он остановился, понимая, что ему не следовало бы говорить об этом, тем более не следовало останавливаться.

– С таким большим?.. – мягко спросила она.

– С таким большим удовольствием, – закончил он, надеясь, что она не станет развивать эту тему.

– Ах, конечно, – сказала она. – Дом Айнсвортов. Вы его спроектировали. Извините. Вы оказались случайной жертвой одного из моих редких приступов честности. У меня они случаются нечасто. Вам это, конечно, известно, если вы читали мою вчерашнюю заметку.

– Да, читал. И... что ж, последую вашему примеру и буду с вами совершенно откровенен. Только не сочтите за жалобу – нельзя жаловаться на тех, кто тебя критикует. Но согласитесь же, capitoлий Холкомба значительно хуже во всех тех аспектах, за которые вы нас разбомбили. Почему же вы вчера так его расхвалили? Или у вас было такое особое задание?

– Не льстите мне. Никаких особых заданий у меня не было. Неужели вы думаете, что кому-то в газете есть дело до того, что я пишу в колонке об интерьере? Кроме того, от меня вообще не ждут статей о capitoлиях. Просто я устала от интерьеров.

– Тогда почему же вы расхвалили Холкомба?

– Потому что его capitoлий настолько ужасен, что высмеивать его просто скучно. И я решила, что будет забавнее, если я восхваляю его до небес. Так и вышло.

– Значит, такая у вас позиция?

– Значит, такая у меня позиция. Но моей колонки никто

не читает, кроме домохозяйек, которым все равно не хватит денег на приличную отделку, так что это не имеет значения.

– Но что вам действительно нравится в архитектуре?

– Мне ничего не нравится в архитектуре.

– Ну, вы, конечно, понимаете, что я вам не верю. Зачем же вы пишете, если ничего не хотите сказать?

– Чтобы чем-то себя занять. Чем-то более мерзким, чем многое другое, что я умею. Но и более занятным.

– Бросьте, это не слишком хорошая отговорка.

– У меня вообще не бывает хороших отговорок.

– Но вам же должна нравиться ваша работа.

– А она мне нравится. Разве незаметно? Очень нравится.

– Признаюсь, я вам даже завидую. Работать в такой мощной организации, как газетный концерн Винанда. Крупнейшая организация в стране, привлекающая лучшие журналистские силы...

– Слушайте, – сказала она, доверительно склонившись к нему, – позвольте вам помочь. Если бы вы только что познакомились с моим отцом, а он бы работал в газете Винанда, тогда вам следовало бы говорить именно то, что вы говорите. Но со мной дело обстоит не так. Именно это я и ожидала от вас услышать, а мне не по душе слышать то, чего я ожидаю. Было бы куда интереснее, если бы вы сказали, что концерн Винанда – огромная помойная яма, бульварные газетенки; что все их авторы гроша ломаного не стоят.

– Вы на самом деле такого мнения о них?

– Вовсе нет. Но мне не нравятся люди, которые говорят только то, что, по их мнению, думаю я.

– Спасибо. Ваша помощь мне очень пригодится. Я еще не встречал никого... впрочем, этого вы от меня как раз слышать не хотите. Но о ваших газетах я говорил вполне серьезно. Гейл Винанд всегда восхищал меня. Мне безумно хочется с ним познакомиться. Какой он?

– Его очень точно охарактеризовал Остин Хэллер. Лощеный выродок.

Он поморщился, припомнив, где именно слышал эти слова Остина Хэллера. Он видел перед собой тонкую белую руку, перекинутую через подлокотник дивана, и все связанное с Кэтрин показалось ему неуклюжим и вульгарным.

– Но я имел в виду – какой он человек?

– Не знаю. Я с ним незнакома.

– Не может быть!

– Это так.

– А я слышал, что он очень интересный человек.

– Несомненно. Когда мне захочется чего-нибудь извращенного, я непременно с ним познакомлюсь.

– А Тухи вы знаете?

– О-о! – сказала она. Он заметил в ее глазах то выражение, которое уже видел однажды, и ему совсем не понравилась ее приторно веселая интонация. – О, Эллсворт Тухи! Конечно же, я его знаю. Он великолепен. Вот с ним я очень люблю поговорить. Это идеальный мерзавец.

– Но, мисс Франкон, позвольте! Кроме вас, никто никогда...

– Я не стараюсь вас шокировать. Я говорю совершенно серьезно. Я им восхищаюсь. В нем такая цельность, такая завершенность! Согласитесь, в этом мире не так уж часто приходится видеть совершенство, с каким бы знаком оно ни было. А он и есть совершенство. В своем роде. Все остальные настолько не закончены, разбиты на кусочки, которые никак не могут собрать воедино. Но только не Тухи. Это монолит. Иногда, когда ожесточаюсь на весь мир, я нахожу утешение в мысли, что буду отомщена и этот мир получит все, что ему причитается, сполна, ведь в нем есть Эллсворт Тухи.

– Вы жаждете отмщения – за что же?

Она посмотрела на него. Ее веки приподнялись на мгновение, так что глаза больше не казались прямоугольными. Они были ясны и ласковы.

– Очень умно, – сказала она. – Это первая умная вещь, которую я от вас услышала.

– Почему?

– Потому что вы поняли, что выбрать из всей словесной трухи, которую я тут наговорила. Так что придется мне вам ответить. Мне бы хотелось отомстить миру за то, что мне не за что ему мстить. Давайте лучше продолжим об Эллсворте Тухи.

– Понимаете, я всегда ото всех слышал, что он вроде святого, единственный чистый идеалист, совершенно неподкуп-

ный и...

– Все это истинная правда. Обыкновенный мошенник был бы намного безопаснее. Но Тухи, он как лакмусовая бумажка для людей. О них можно узнать все по тому, как они его воспринимают.

– Как это? Что вы хотите сказать?

Она откинулась в кресле, вытянув руки и положив их на колени ладонями вверх и переплетя пальцы. Потом легко засмеялась:

– Ничего такого, о чем было бы уместно говорить на светском чаепитии. Кики права. Она меня терпеть не может, но иногда ей приходится меня приглашать. А я не могу отказать себе в удовольствии – ведь ей так явно не хочется меня видеть. Знаете, я ведь сегодня сказала Ралстону все, что на самом деле думаю о его капитолии. Но он мне так и не поверил. Только разулыбался и назвал меня очень милой девочкой.

– А разве это не так?

– Что?

– Что вы очень милая девочка.

– Только не сегодня. Я же вас весь вечер ставила в неловкое положение. Но я исправлюсь. Я расскажу вам, что я думаю о вас, поскольку вас это беспокоит. Я думаю, что вы умны, надежны, простодушны, очень честолюбивы и что у вас все получится. Вы мне нравитесь. Я скажу отцу, что очень одобряю его правую руку, так что, видите, вам нечего бояться со стороны дочки босса. Хотя лучше будет, если я ничего

ему не скажу, потому что мою рекомендацию он воспримет в строго противоположном смысле.

– А мне можно сказать, что я думаю о вас? Только одну вещь?

– Конечно. И не одну.

– По-моему, было бы лучше, если бы вы не говорили мне, что я вам нравлюсь. Тогда у меня было бы больше шансов надеяться, что это окажется правдой.

Она засмеялась.

– Если вы и это понимаете, – сказала она, – мы с вами подружимся. И тогда может оказаться, что я сказала правду.

В проеме арки, выходящей в бальную залу, появился Гордон Л. Прескотт со стаканом в руке. На нем был серый костюм, а вместо рубашки – свитер из серебристой шерсти. Его мальчишеское лицо было свежевыбрито. От него, как всегда, пахло мылом, зубной пастой и пребыванием на свежем воздухе.

– Доминик, дорогая! – воскликнул он, взмахнув стаканом. – Привет, Китинг, – отрывисто добавил он. – Доминик, где же вы прятались? Я услышал, что вы сегодня здесь, и убил черт знает сколько времени, разыскивая вас!

– Привет, Гордон, – сказала она вполне корректно. В ее тихом, вежливом голосе не было ничего оскорбительного, но вслед за его восторженной интонацией ее тон казался убийственно безразличным. Эти два контрастных тона как бы создали осязаемый контрапункт вокруг основной мелодиче-

ской линии – линии полного презрения.

Прескотт этой мелодии не расслышал.

– Дорогая, – сказал он. – Каждый раз, когда я вижу вас, вы становитесь все очаровательнее. Кто бы мог подумать, что такое возможно?

– Седьмой, – сказала она.

– Что?

– Вы мне седьмой раз об этом говорите при встрече, Гордон. Я веду счет.

– Доминик, вы же это несерьезно. Вы никогда не бываете серьезной.

– Ошибаетесь, Гордон. Я только что весьма серьезно разговаривала с моим другом Питером Китингом.

Какая-то дама помахала Прескотту, и он использовал эту возможность, чтобы ретироваться с довольно глупым видом. А Китинг пришел в восторг при мысли, что она отбрила другого мужчину ради продолжения разговора с ее другом Питером Китингом.

Но когда он обернулся к ней, она спросила сладеньким голосом:

– Так о чем мы говорили, мистер Китинг? – И она с преувеличенным интересом посмотрела вдаль, на высохшую фигуру старичка, который закашлялся над бокалом виски в другом конце зала.

– Как? Мы ведь говорили... – начал Китинг.

– О, вот и Юджин Петтингилл. Мой любимец. Мне надо

поздороваться с Юджином.

Она поднялась и пошла через зал, чуть прогибаясь на ходу, навстречу самому несимпатичному старцу из всех присутствующих.

Китинг не понял, была ли это случайность, или его записали в один клуб с Гордоном Л. Прескоттом.

Он неохотно вернулся в бальный зал, заставил себя присоединяться к группам гостей, разговаривать. Он смотрел на Доминик Франкон – как она идет сквозь толпу, как останавливается поговорить с другими. На него она больше не взглянула. Он не мог решить, что же у него с ней вышло – полный успех или полная неудача.

Ему удалось случайно оказаться возле двери, когда она уходила.

Она остановилась и одарила его чарующей улыбкой.

– Нет, – сказала она, прежде чем он успел произнести хоть слово. – Провожать меня не надо. Меня ждет машина. Но все равно благодарю вас за любезность.

Она ушла, а он беспомощно стоял у дверей и лихорадочно соображал, покраснел он или нет.

Он почувствовал, как на плечо ему опустилась мягкая рука, повернулся и увидел Франкона.

– Домой собрался, Питер? Подбросить тебя?

– Но я думал, что тебе надо к семи быть в клубе.

– Да ничего, немножко опоздаю, подумаешь. Я доведу тебя до дому, без проблем. – На лице Франкона было странное

целеустремленное выражение, очень ему не свойственное и не идущее.

Заинтригованный, Китинг молча пошел за Франконом и, оказавшись с глазу на глаз с ним в уютном полумраке автомобиля, продолжал молчать.

– Ну и? – несколько зловеще произнес Франкон. Китинг улыбнулся:

– Гай, ты свинья. Даже не умеешь ценить то, что имеешь. Почему ты ничего не сказал мне? Таких прекрасных женщин, как она, я еще не встречал.

– О да, – мрачно отозвался Франкон. – Может, в том-то вся и беда.

– Какая еще беда? Где ты увидел беду?

– Что ты на самом деле о ней думаешь, Питер? Помимо внешности. Сам потом увидишь, как быстро научишься не принимать ее внешность в расчет. Так что же?

– Ну, по-моему, у нее очень сильный характер.

– Благодарю за преуменьшение. – Франкон угрюмо замолчал, а когда заговорил, в голосе его прозвучала некая нотка надежды: – Знаешь, Питер, ты меня очень удивил. Я наблюдал за тобой, у вас с ней получилась очень долгая беседа. Это просто поразительно. Я был совершенно уверен, что она тут же отошьет тебя какой-нибудь милой ядовитой шуточкой. Может статься, ты с ней и поладишь. Я одно лишь могу заключить: она вообще непредсказуема. Возможно... Знаешь, Питер, я вот что тебе хотел сказать: не обращай ни-

какого внимания на ее слова, будто я хочу, чтобы ты себя вел с ней ужасно.

Полная искренность и выстраданность этой фразы содержала в себе такой намек, что Китинг уже сложил было губы, чтобы негромко присвистнуть, но вовремя сдержался. Франкон добавил тем же тоном:

– Я не хочу, чтобы ты с ней не ладил. Совсем не хочу.

– Знаешь, Гай, – сказал Китинг с несколько снисходительным упреком, – тебе не следовало бы так избегать ее.

– Я не знаю, как с ней говорить, – Франкон вздохнул. – Так и не научился. Я никак в толк не возьму, что в ней не так, но что-то не так, это точно. Она просто не желает вести себя как нормальный человек. Знаешь, ее ведь из двух школ выгоняли в последнем классе. Ума не приложу, как она проскочила через колледж, но могу тебе признаться, что четыре года боялся вскрывать ее письма. Потом я решил: ну ладно, теперь она самостоятельна, моя роль сыграна, и мне теперь нечего о ней переживать. Но она стала еще хуже.

– Но в чем же ты находишь причины для переживаний?

– Я их и не ищу. Стараюсь не искать. Я счастлив, когда мне вообще не надо думать о дочери. Это происходит помимо моей воли, просто я не создан быть отцом. Но иногда я начинаю чувствовать, что все же обязан отвечать за нее. Хотя, Бог свидетель, я вовсе не хочу такой ответственности, но ответственность все же существует, и надо что-то делать. Не могу же я перепоручить ее кому-то другому.

– Гай, ты дал ей себя запугать, а бояться-то, по существу, нечего.

– Ты так считаешь?

– Абсолютно нечего.

– Возможно, ты и есть тот человек, который мог бы с ней управиться. Теперь я не жалею, что вы с ней познакомились, хотя ты знаешь, что прежде мне этого очень не хотелось. Да, пожалуй, кроме тебя, с ней управиться некому. Ведь когда тебе что-то нужно, ты... ты бываешь очень решительным. Да, Питер?

Китинг беззаботно махнул рукой:

– У меня редко возникает чувство страха.

И он откинулся на спинку сиденья, будто очень устал, будто не услышал ничего достойного внимания, и не проронил больше ни слова на протяжении всей поездки. Молчал и Франкон.

– Ребята, – сказал Джон Эрик Снайт. – Не жалейте сил на это дело. Это важнейший для нас заказ в нынешнем году. Денег, как вы понимаете, не так уж много, зато престиж, связи! Если дельце выгорит, кое-кто из этих великих архитекторов позеленеет от зависти! Понимаете, Остин Хэллер честно сказал, что мы – третья фирма, в которую он обратился. Ничего из того, что наши великие деятели пытались ему всучить, его не устроило. Так что теперь, ребята, все в наших руках. Нужно что-то необычное, нестандартное, со вкусом,

но главное – *необычное*. В общем, постарайтесь.

Пятеро его проектировщиков сидели перед ним полукругом.

У Готика был усталый вид. Универсал казался заранее обескураженным, Возрожденец внимательно следил за перемещениями мухи по потолку. Рорк спросил:

– Что конкретно он сказал, мистер Снайт?

Снайт пожал плечами и с хитрецей посмотрел на Рорка, будто они оба знали какую-то постыдную тайну своего клиента, о которой не следовало распространяться.

– Между нами, мальчиками, говоря, ничего особенно вразумительного, – сказал Снайт. – Учитывая его великолепное владение английским языком на бумаге, его невнятность была особенно заметна. Он признался, что ничего в архитектуре не понимает. Он не сказал, хочет ли дом современного вида, или в каком-либо историческом стиле, или еще чего-нибудь. Проблеял что-то в том смысле, что ему нужен собственный дом, но он долго не решался начать строительство, потому что все дома казались ему одинаковыми – одинаково безобразными, и он никак не может понять, как кто-то может прийти в восторг по поводу какого бы то ни было здания. И все же он вбил себе в голову, что ему нужен дом, который он смог бы полюбить. «Дом, который будет что-то для меня значить» – так он выразился, хотя добавил, что не знает, что именно и почему. Вот так. Больше он ничего, пожалуй, и не сказал. Не слишком четкие указания, и я нико-

гда не взялся бы предложить ему проект, если бы он не был Остином Хэллером. Но, что ни говори, он и сам не понимает, чего ему надо, это уж точно... В чем дело, Рорк?

– Ни в чем, – сказал Рорк.

На этом и закончилось первое совещание относительно резиденции Остина Хэллера.

Вечером того же дня Снайт загнал своих пятерых проектировщиков в поезд, и они отправились в Коннектикут осмотреть участок, выбранный Хэллером. Они стояли на одиноком каменистом берегу, в трех милях от не слишком фешенебельного городка, жевали бутерброды и орешки, смотрели на утес, который ломаными уступами вырастал из земли и резко, свирепо обрывался в море. Вертикальный обелиск скалы крест-накрест пересекал бледную линию морского горизонта.

– Вот тут, – сказал Снайт, вертя в руке карандаш. – Веселенькое местечко, да? – Он вздохнул. – Я пытался предложить ему более приличный участок, но ему это не сильно понравилось, так что пришлось мне заткнуться. – Снайт вновь покрутил карандаш. – Вон где он хочет дом, на самой верхушке скалы. – Снайт почесал кончиком карандаша кончик носа. – Я пытался предложить поставить дом подальше от берега, а эту чертову скалу оставить для вида, но это тоже его не вдохновило. – Он закусил резинку карандаша зубами. – Подумать только, сколько понадобится взрывных работ на этой вершине! А нивелировки? – Он почистил ноготь гри-

фелем, оставив черный след. – В общем, вот так... Определите угол залегания и качество породы. Подходы к площадке будут трудными. У меня в конторе есть все замеры и фотографии... Так... У кого есть сигарета?.. Ну, пока достаточно... Всегда готов помочь вам советом... Так... Во сколько идет этот чертов поезд?

Так пять проектировщиков приступили к работе. Четверо из них незамедлительно бросились к кульманам. Только Рорк еще много раз в одиночку выезжал на участок.

Пять месяцев, проведенных Рорком у Снайта, пролетели, не оставив в его душе никакого следа. Если бы у него возникло желание спросить себя, что он чувствует в связи с этим, он не смог бы ничего ответить, кроме, пожалуй, одного – за эти пять месяцев ему ничего не запомнилось. То есть он прекрасно помнил каждый сделанный им эскиз; если постараться, он, вероятно, вспомнил бы и дальнейшую судьбу этих эскизов. Он не старался.

Но ни к одному из этих проектов он не относился с такой любовью, как к дому Остина Хэллера. Вечер за вечером он оставался в чертежной после работы, наедине с листом бумаги и мыслью о нависающем над морем утесе. Никто не видел его эскизов, пока они не были завершены.

Закончив работу над ними поздно ночью, он сел у доски, разложив перед собой листы, и сидел много часов, одной рукой подперев подбородок, а другую свесив вниз, так что кровь прилила к пальцам и они занемели. Улица за окном

сделалась темно-синей, затем бледно-серой. Он не смотрел на эскизы. Он был опустошен.

Дом, изображенный на эскизах, казалось, был создан не Рорком, а утесом, на котором стоял. Казалось, что утес вырос и завершил себя, заявив о своем предназначении, осуществления которого он так долго ждал. Дом был разбит на несколько уровней, следующих контурам естественных террас, созданных природой на скальной поверхности утеса. Дом поднимался вместе с ними – постепенно, неравномерно, стекаясь в одну точку, в единое гармоничное целое.

Стены, из того же гранита, из которого был сложен утес, продолжали вертикальное движение его склонов вверх, широкие бетонные террасы, серебристые, как море, повторяли линии волн, линии горизонта.

Рорк еще сидел у доски, когда его сослуживцы вернулись, чтобы начать новый рабочий день. Тогда эскизы были отправлены в кабинет Снайта.

Два дня спустя конечный вариант дома, который нужно было представить Остину Хэллеру, вариант, выбранный и отредактированный Джоном Эриком Снайтом, исполненный художником-китайцем, лежал на столе, закутанный в оберточную бумагу. Это был дом Рорка, но теперь стены были сложены из красного кирпича, окна обрезаны до общепринятых размеров и снабжены зелеными ставнями, два выступающих крыла отсутствовали, громадная нависающая над морем терраса была заменена балкончиком с ажурной

решеткой, а к входу были приделаны портик с ионическими колоннами под ломаным фронтоном и небольшой шпиль с флюгером.

Возле стола стоял Джон Эрик Снайт, раскинув руки над рисунком, боясь коснуться девственной чистоты его нежных тонов.

– Уверен, что именно это имел в виду мистер Хэллер, – сказал он. – Очень неплохо... Да, очень неплохо... Рорк, сколько можно повторять, чтобы ты не курил у белого эскиза? Отойди. Не ровен час, измажешь его пеплом.

Остин Хэллер ожидался к двенадцати часам. Но в половине двенадцатого без предупреждения явилась миссис Симингтон и потребовала немедленной встречи с мистером Снайтом. Миссис Симингтон была внушительного вида вдова, которая только что въехала в новый дом, спроектированный мистером Снайтом. Помимо того, Снайт рассчитывал получить заказ на многоквартирный дом от ее брата. Он не мог отказать принять ее и с поклонами препроводил в свой кабинет, где она, не стесняясь в выражениях, принялась излагать ему, что в библиотеке у нее треснул потолок, а на эркерных стеклах в гостиной постоянно выступает какая-то испарина, из-за которой пропадает весь вид и с которой она ничего не может поделать. Снайт послал за своим главным инженером, и они вдвоем пустились в подробные объяснения, извинения и проклятия в адрес подрядчиков. Миссис Симингтон не выказала никаких признаков смягчения, ко-

гда на столе Снайта зазвенел звонок и голос секретарши сообщил о прибытии Остина Хэллера.

Было равно невозможно и попросить миссис Симингтон уйти, и предложить мистеру Хэллеру подождать. Снайт решил проблему, перепоручив миссис Симингтон главному инженеру с его ласковыми речами, а сам удалился на минуточку, попросив извинения. Он вышел в приемную, крепко пожал руку Хэллеру и предложил:

– Давайте, мистер Хэллер, заглянем в чертежную, если вы не против. Понимаете, там освещение лучше, а эскиз для вас уже готов, и мне бы не хотелось его куда-либо переносить.

Хэллер не возражал. Он послушно проследовал за Снайтом в чертежную, высокий, широкоплечий, в английском твидовом костюме, с песочными волосами и квадратным лицом с бесчисленными морщинками вокруг насмешливо-спокойных глаз.

Рисунок лежал на столе китайца. Сам художник, не говоря ни слова, почтительно отошел. Рядом был кульман Рорка. Стоя спиной к Хэллеру, он продолжал работать и не оборачивался. Служащих приучили не вмешиваться, когда Снайт приводил клиента в чертежную.

Снайт кончиками пальцев приподнял с рисунка оберточную бумагу – словно вуаль с лица невесты. Потом он сделал шаг назад и стал следить за лицом Хэллера. Тот наклонился и замер в этой позе, внимательно, напряженно, долго не произнося ни слова.

– Послушайте, мистер Снайт, – произнес он наконец. – Понимаете, мне кажется... – Он замолчал.

Снайт терпеливо ждал. Он был доволен, чувствуя приближение чего-то, чему не следовало мешать.

– Вот, – внезапно громко сказал Хэллер и хлопнул кулаком по рисунку. Снайт поморщился. – Ближе к желаемому никто не подходил!

– Я не сомневался, что вам понравится, мистер Хэллер, – сказал Снайт.

– Мне *не* нравится, – сказал Хэллер. Снайт, моргая, ждал, что будет дальше.

– Это так близко, – с сожалением проговорил Хэллер, – но это совсем не то. Не знаю, в чем дело, но совсем не то. Прошу вас, извините меня, если выражаюсь непонятно, но мне либо нравится все с самого начала, либо не нравится совсем. Я знаю, например, что этот вход меня никогда не устроит. Это очень красивый вход, но он будет совершенно незаметен, потому что такой вход встречается очень часто.

– Да, мистер Хэллер, но позвольте мне высказать несколько соображений. Конечно, хочется быть современным, но при этом хочется, чтобы у жилого дома сохранился вид жилого дома. Понимаете, сочетание величия и уюта. Такой строгий дом, как этот, требует некоторых смягчающих штрихов, абсолютно корректных с архитектурной точки зрения.

– Несомненно, – сказал Хэллер. – Только мне этого не по-

нять. Я ведь ни разу в жизни не бывал абсолютно корректен.

– Разрешите объяснить вам весь замысел. Тогда вы сами поймете...

– Знаю, – устало сказал Хэллер. – Знаю. Не сомневаюсь, что вы правы. Но только... – в его голосе прозвучало некоторое оживление, и было видно, как он жаждет подобного внутреннего оживления, – только если бы в нем было некое единство... некая главная идея, которая здесь вроде бы и есть, и в то же время ее нет. Если бы дом казался живым... а он таким не кажется... Тут чего-то не хватает и чего-то слишком много... Если бы он был как-то четче, определеннее и – как это называется? – целостнее...

Рорк развернулся. Он оказался по другую сторону стола. Схватив рисунок, он стремительно выбросил вперед руку с карандашом, и тот зашелестел по бумаге, прочерчивая черные жирные линии поверх неприкосновенной акварели. Под этими линиями исчезли ионические колонны, исчезли фронтон, портик, шпиль, ставни, кирпичи. Выросли два каменных крыла, выплеснулись широкие окна, балкон разлетелся вдребезги, а над морем взмыла терраса.

Все это делалось, пока остальные соображали, что, собственно, происходит. Затем Снайт рванулся вперед, но Хэллер схватил его за руку и остановил. Рука Рорка продолжала сносить стены, расчленять, строить заново – яростными, размашистыми штрихами.

На долю секунды Рорк откинул голову и посмотрел че-

рез стол на Хэллера. Надобность представляться друг другу исчезла – взгляд, которым они обменялись, был равносителен рукопожатию. Рорк продолжал работать, а когда он отбросил карандаш, дом, в том виде, в каком он его спроектировал, предстал перед ними в паутине черных штрихов, как будто уже построенный. Все заняло не более пяти минут.

Снайт попытался вставить слово. Поскольку Хэллер молчал, Снайт решил наброситься на Рорка и закричал:

– Ты уволен! Черт тебя побери, убирайся отсюда! Ты уволен!

– Мы оба уволены, – сказал Остин Хэллер, подмигивая Рорку. – Пойдемте отсюда. Вы обедали? Сходим куда-нибудь. Я хочу с вами поговорить.

Рорк подошел к своему шкафу и достал пальто и шляпу. Вся чертежная стала свидетелем беспрецедентного события, и работа прекратилась – все ждали, что будет дальше. Остин Хэллер взял рисунок, сложил его вчетверо, сгибая драгоценный ватман, и засунул в карман.

– Но, м-мистер Хэллер... – запинаясь, пролепетал Снайт, – позвольте, я все объясню... Если это то, что вам надо, то все прекрасно... мы переделаем рисунок... позвольте объяснить...

– В другой раз, – сказал Хэллер. – После. – Подойдя к дверям, он добавил: – Чек я вам пришлю.

И Хэллер исчез. Вместе с ним исчез и Рорк. Звук захлопнувшейся за ними двери напоминал последнюю точку в оче-

редной статье Хэллера.

Рорк не сказал ни слова.

В мягко освещенной кабинке ресторана – в таком дорогом ресторане Рорк еще ни разу не бывал – посреди блеска хрусталя и серебра Хэллер говорил:

– ...потому что это именно тот дом, который я хочу, потому что о таком доме я всегда мечтал. Можете вы его построить для меня, составить всю документацию, проконтролировать строительство?

– Да, – сказал Рорк.

– Сколько это займет времени, если мы начнем немедленно?

– Около восьми месяцев.

– И у меня к концу осени будет свой дом?

– Да.

– В точности такой, как на рисунке?

– В точности.

– Послушайте, я представления не имею, какой контракт надо заключать с архитектором, а вы это, должно быть, знаете, так что составьте и разрешите сегодня же вечером моему адвокату взглянуть на него. Вы согласны?

– Да.

Хэллер внимательно посмотрел на человека, сидящего напротив. Он увидел руку, лежащую на столе. Хэллер сосредоточился на этой руке. Он видел длинные пальцы, острые суставы, набухшие вены.

У него возникло ощущение, что он не нанимает этого человека, а препоручает себя его воле.

– Сколько вам лет, незнакомец? – спросил Хэллер.

– Двадцать шесть. Вам нужны рекомендации?

– Нет. Все нужные мне рекомендации у меня в кармане.

Как ваше имя?

– Говард Рорк.

Хэллер достал чековую книжку, разложил ее на столе и полез за авторучкой. Он начал писать со словами:

– Я выписываю на ваш счет пятьсот долларов. Снимите себе мастерскую и прочее, что вам необходимо, и приступайте.

Он оторвал чек и передал его Рорку, держа кончиками выпрямленных пальцев, опершись на локоть и делая вращательные движения ладонью. Он хитро прищурился и смотрел на Рорка с загадочным выражением. Но его жест напоминал приветствие.

Чек был выписан на имя «Говарда Рорка, архитектора».

XI

Говард Рорк открыл собственное бюро.

Оно занимало одну большую комнату на верхнем этаже старого здания. Широкое окно выходило на соседние крыши. Подойдя к подоконнику, Рорк мог видеть далекую ленту Гудзона⁵¹. Маленькие стрелки кораблей двигались под кончиками его пальцев, когда он прижимал их к стеклу. У него был письменный стол, два стула и огромная чертежная доска. На стеклянной входной двери висела табличка «Говард Рорк. Архитектор». Он долго стоял в холле и смотрел на эти слова. Потом он вошел и захлопнул за собой дверь. Он снял с доски рейшину, затем кинул ее обратно, словно бросая якорь.

Джон Эрик Снайт был против. Когда Рорк зашел к нему в бюро забрать свой инструмент, Снайт появился в приемной, тепло пожал ему руку и сказал:

– Рорк! Ну и как дела? Заходи, заходи давай, я хочу по-толковать с тобой.

Усадив Рорка напротив своего письменного стола, Снайт громко продолжил:

– Слушай, дружок, надеюсь, у тебя хватит ума не держать на меня зла за то, что я там вчера наговорил. Ты же понима-

⁵¹ *Гудзон* – река на востоке США, впадающая в Атлантический океан. В устье ее находится Нью-Йорк.

ешь, я немного вышел из себя. И вовсе не из-за того, что ты сделал, а из-за того, что тебе непременно надо было все сделать на *беловом* рисунке, на том самом... ну ладно, ничего. Так ты зла не держишь?

– Нет, – сказал Рорк. – Нисколько.

– Разумеется, ты не уволен. Ты ведь не принял мои слова всерьез? Можешь сию же минуту приступать к работе.

– А зачем, мистер Снайт?

– Как это зачем? А, ты думаешь о доме Хэллера? Но неужели ты воспринял Хэллера всерьез? Ты же видел его и понимаешь, что этот безумец может менять свое мнение шестьдесят раз в минуту. Он же не даст тебе этот заказ. Понимаешь, не так-то это просто. Так вообще не делается.

– Мы вчера подписали контракт.

– Так подписали? Прекрасно! В общем, понимаешь, Рорк, я скажу тебе, как мы поступим: ты принесешь этот заказ нам, а я позволю тебе поставить свое имя рядом с моим. Джон Эрик Снайт и Говард Рорк. А гонорар поделим пополам. Разумеется, в дополнение к твоему жалованью, кстати, ты получаешь повышение. А далее у нас будут те же условия на любой заказ, который добудешь ты. И... Боже мой, чего ты смеешься?

– Извините, мистер Снайт, больше не буду.

– Мне кажется, ты не понял, – изумленно произнес Снайт. – Так пойми же. Это твой страховой полис. Пока тебе еще рано открывать собственное дело. Заказы не будут сы-

паться тебе на голову, в этот раз все вышло чисто случайно. И что ты тогда будешь делать? А если согласишься на мой вариант, у тебя будет надежная работа, и ты будешь постепенно набираться опыта для независимой частной практики, если ты к этому стремишься. Через четыре-пять лет ты встанешь на ноги, созреешь для самостоятельного дела. Так поступают все. Понимаешь?

– Да.

– Так согласен?

– Нет.

– Господи Боже мой, да ты с ума сошел! Начинать в одиночку сейчас? Без опыта, без связей, без... да вообще без всего! Я о таком никогда еще не слышал. Да спроси любого, кто имеет отношение к архитектуре. Услышишь, что они тебе скажут. Твое решение – полное сумасшествие!

– Вполне возможно.

– Рорк, да выслушай меня наконец!

– Я выслушаю, мистер Снайт, если вам угодно. Но, по моему, мне следует сказать сразу, что ваши слова не будут иметь для меня никакого значения. Если это вас устраивает, я готов выслушать.

Снайт говорил долго, а Рорк слушал, не возражая, не объясняя, не отвечая.

– В общем, если ты настроен так, то не жди, что я возьму тебя обратно, когда ты окажешься на улице.

– Я этого и не жду, мистер Снайт.

– И не рассчитывай, что кто-то другой из архитекторов тебя возьмет, когда они узнают, как ты поступил со мной.

– И на это я тоже не рассчитываю.

В течение нескольких дней Снайт подумывал подать в суд на Рорка и Хэллера, но решил не делать этого, поскольку при данных обстоятельствах оснований для иска не было: во-первых, Хэллер оплатил Снайту все услуги, во-вторых, дом действительно был спроектирован Рорком, а в-третьих, с такими людьми, как Остин Хэллер, никто не судится.

Первым посетителем бюро Рорка был Питер Китинг.

Однажды ровно в полдень он вошел без всякого предупреждения, прошел через всю комнату и уселся прямо на стол Рорка, весело улыбаясь и широко разведя руки в стороны.

– Ну и ну, Говард! – сказал он. – Вот так дела!

Он не виделся с Рорком год.

– Здравствуй, Питер, – сказал Рорк.

– Надо же, собственное бюро, табличка с собственным именем, и вообще!.. Так скоро! Невероятно!

– Кто тебе рассказал, Питер?

– Ну, ходят слухи. Вполне естественно, что я слежу за твоими успехами. Ты же знаешь, что я о тебе думаю постоянно. Надо ли говорить, что я тебя поздравляю и желаю всего самого наилучшего.

– Нет, не надо.

– Хорошо у тебя тут. Светло, просторно. Может быть, не так солидно, как следовало бы, но чего можно ожидать в са-

мом начале пути? А кроме того, перспективы ведь достаточно неопределенные. Согласен, Говард?

– Вполне.

– Ты пошел на громадный риск.

– Скорее всего.

– И ты действительно рассчитываешь чего-то добиться? Я имею в виду, самостоятельно?

– А что, не похоже?

– Понимаешь, пока ведь еще не поздно. Когда я услышал всю эту историю, то решил, что ты обязательно вернешься с этим заказом к Снайту и заключишь с ним выгодную сделку.

– Я так не сделал.

– И неужели не собираешься?

– Нет.

Китинг не мог понять, почему его гложет мучительная злоба, почему он пришел сюда в надежде услышать, что вся эта история просто выдумана, в надежде заставить Рорка неуверенным, готовым капитулировать. Бессильная злоба охватила его с того самого мгновения, когда он услышал новости о Рорке, и не покидала, даже когда он забывал о причинах ее возникновения. Злоба волнами накатывала на него в самые неподходящие моменты, и он часто недоумевал: что же, черт возьми, происходит? Что меня сегодня так разозлило? И лишь некоторое время спустя вспоминал: ах да, Рорк; Рорк открыл собственное бюро. И тогда Китинг спешил за-

дать себе вопрос: «Ну и что с того?», понимая, что сами эти слова болезненны и унижительны, как оскорбление.

– Знаешь, Говард, я восхищаюсь твоей смелостью. Честное слово. У меня значительно больше опыта, да и профессиональная репутация повыше – ты только не обижайся, я ведь объективно говорю, – но я не решился бы на такой шаг.

– Не решился бы.

– Выходит, ты первый совершил прыжок. Так-так. Кто бы мог подумать?... Искренне желаю тебе всяческих удач.

– Спасибо, Питер.

– Я думаю, ты добьешься успеха. Я в этом не сомневаюсь.

– Неужели не сомневаешься?

– Конечно. Ни капельки. А ты разве сомневаешься?

– Я как-то об этом не задумывался.

– Не задумывался?!

– Не особенно.

– Так значит, Говард, ты все-таки не уверен в себе. Так?

– А почему ты спрашиваешь с такой радостью?

– Что?! Нет, конечно, не с радостью. Просто я беспокоюсь за тебя, Говард. Сейчас, в твоём положении, никак нельзя терять уверенность. Так у тебя есть сомнения?

– Никаких.

– Но ты сказал...

– Питер, я во всем совершенно уверен.

– А ты подумал о получении лицензии?

– Я подал заявку.

– У тебя же нет диплома. Тебе придется очень трудно на экзамене.

– Скорее всего.

– Что же ты будешь делать, если не получишь лицензии?

– Я ее получу.

– Что ж, теперь будем встречаться в гильдии, если ты, конечно, не зазнаешься и не перестанешь меня узнавать. Ты ведь как-никак будешь полноправным членом, а я всего лишь в молодежной секции.

– Я не буду вступать в гильдию.

– То есть как это – не будешь? Ты же теперь имеешь право вступить.

– Может быть.

– Тебя пригласят вступить.

– Скажи им, чтобы не тратили силы попусту.

– Что?!

– Знаешь, Питер, у нас с тобой был точно такой же разговор семь лет назад, когда ты пытался убедить меня вступить в твоё землячество в Стентоне. Так что не начинай снова.

– Ты не станешь вступать в гильдию, когда у тебя появилась такая возможность?

– Я не стану вступать ни во что, Питер. Никогда.

– Разве ты не понимаешь, насколько это полезно?

– Для чего?

– Для работы архитектора.

– Я не желаю, чтобы мне помогли быть архитектором.

– Ты сам себе все усложняешь.

– Да.

– И знаешь, трудностей у тебя будет много.

– Знаю.

– Если ты откажешься от их предложения, то наживешь в их лице много сильных врагов.

– В их лице я так или иначе наживу врагов.

В первую очередь Рорк поделился новостями с Генри Камероном. Подписав контракт с Остином Хэллером, он на следующий же день отправился в Нью-Джерси. Шел дождь. Рорк застал Камерона в саду. Тот медленно передвигался по мокрым дорожкам, тяжело опираясь на палку. За прошедшую зиму Камерон немного поправился и мог гулять по несколько часов в день. Ходил он с трудом, согнувшись в три погибели. Он смотрел себе под ноги, на первую траву, пробивающуюся из земли. Время от времени он отрывал палку от земли, поустойчивее опирался на ноги, кончиком палки дотрагивался до зеленого бутона и смотрел, как с него, искрясь в сумеречном свете, стекает капелька росы. Увидев поднимающегося по холму Рорка, он нахмурился. В последний раз он виделся с Рорком всего неделю назад, а поскольку эти визиты так много значили для них обоих, ни один не хотел, чтобы они были слишком частыми.

– Ну? – ворчливо спросил Камерон. – Теперь чего тебе здесь надо?

– Надо кое-что вам сказать.

– С этим можно и подождать.

– Не думаю.

– Итак?

– Я открываю собственное бюро. Только что подписал контракт на первый дом.

Камерон крутил палку, вжав наконечник в землю. Ручка, за которую он держался обеими ладонями, положив их одну на другую, описывала широкие круги в воздухе. Он медленно кивал головой в такт движению, закрыв глаза. Потом посмотрел на Рорка и сказал:

– Так, только не хвастай по этому поводу. – И добавил: – Помоги мне присесть.

Камерон впервые произнес эту фразу. И его сестра, и Рорк давно уже знали, что в присутствии Камерона совершенно недопустимо выказывать намерение помочь ему передвигаться.

Рорк взял его за локоть и подвел к скамейке. Не отводя взгляда от заходящего солнца, Камерон хрипло спросил:

– Какой дом? Для кого? За сколько?

Он молча выслушал рассказ Рорка, а потом долго рассматривал рисунок на потрескавшемся картоне, где поверх акварели были нанесены карандашные линии. Он задал много вопросов о камне, стали, дорогах, подрядчиках, расходах. От поздравлений и комментариев он воздержался.

Только когда Рорк уходил, Камерон внезапно сказал:

– Говард, когда откроешь свое бюро, сделай несколько снимков и покажи их мне.

Потом он покачал головой, с виноватым видом отвернулся и выругался.

– Впадаю в маразм. Не надо никаких снимков.

Рорк промолчал.

Три дня спустя он вернулся.

– Ты начинаешь мне надоедать, – сказал Камерон.

Рорк, не говоря ни слова, протянул ему конверт. Камерон посмотрел на снимки: на широкую пустую комнату, на большое окно, на входную дверь. Отложив остальные, он долго смотрел на фотографию входной двери.

– Так, – сказал он. – Дожил я все-таки до этого дня. – Он положил снимок. – Не совсем то, – добавил он. – Не так я этого хотел, но все же... Похоже на тени, которые, по словам некоторых, мы будем видеть на том свете. Возможно, именно так мне и предстоит увидеть все последующее. Учусь. – Он снова взял снимок. – Говард, – сказал он, – ты посмотри.

Они оба посмотрели на снимок.

– Слов совсем мало. Только «Говард Рорк. Архитектор». Но это как тот девиз, который когда-то вырезали над воротами замка и за который отдавали жизнь. Это как вызов перед лицом чего-то столь огромного и темного, что вся боль на свете – а знаешь ли ты, сколько страданий в мире? – вся боль исходит оттуда, от этого темного Нечто, с которым ты обречен сражаться. Я не знаю, что это такое, не знаю, почему

оно выступит против тебя. Знаю только, что так будет. И еще я знаю, что если ты пронесешь свой девиз до конца, то это и будет победа. Победа не только для тебя, Говард, но и для чего-то, что обязано победить, чего-то, благодаря чему движется мир, хотя оно и обречено оставаться непризнанным и неузнанным. И так будут отомщены все те, кто пал до тебя, кто страдал так же, как предстоит страдать тебе. Да благословит тебя Бог – или кто там есть еще, кто один в состоянии увидеть лучшее, высочайшее, на что способны человеческие сердца. Говард, ты встал на путь, который ведет в ад.

Рорк поднялся по тропинке на вершину утеса, где в синее небо поднимался стальной каркас дома Хэллера. Каркас был уже возведен и забетонирован. Большие площадки террас нависали над серебряным покрывалом воды, колышущейся далеко внизу. Сантехники и электрики начали прокладывать коммуникации.

Он посмотрел на квадратики неба, разграниченные стройными линиями балочных ферм и колонн, на пустую кубатуру пространства, которую он вырвал прямо из неба. Руки его произвольно двигались, заполняя пространство еще не возведенными стенами, обхватывая будущие комнаты. Из-под его ноги вырвался камень и, подпрыгивая, полетел вниз по холму. Звуки падения разбежались в солнечном ясном летнем воздухе.

Он стоял на вершине, широко расставив ноги, расправив плечи. Он смотрел на шляпки стальных заклепок, мелкие

блестки в отесанных глыбах камня, паутину свежих желтых лесов.

Затем он увидел крупную, рослую фигуру, обмотанную проводами, бульдожье лицо, расплывающееся в широкой ухмылке, и небесно-голубые глаза, в которых светилось неистовое торжество.

– Майк! – сказал Рорк, не веря собственным глазам. Несколько месяцев назад, задолго до появления Хэллера в бюро Снайта, Майк уехал на большую стройку в Филадельфии. Так что он не мог быть в курсе дела – или так только казалось Рорку?

– Здорово, рыжий, – нарочито спокойно сказал Майк и добавил: – Привет, босс.

– Майк, откуда ты?..

– Архитектор из тебя тот еще. Такую работу филонишь! Я уж третий день тут тебя дожидаясь.

– Майк, как ты сюда попал? С каких пор за такие мелочи стал браться? – Он знал, что Майк никогда не соглашался работать на строительстве мелких частных домов.

– Не валяй дурака. Сам же знаешь, как я сюда попал. Уж не думал ли ты, что я пропущу твой первый дом, или как? Или ты считаешь, такая работа ниже моего достоинства? Ну может, и так. А может, и совсем наоборот.

Рорк протянул руку, и грязные пальцы Майка свирепо обхватили ее, словно пятна, которые он оставил на коже Рорка, могли сказать все, что он хотел. И убоявшись, что он все-

таки произнесет вслух эти слова, Майк прорычал:

– Давай, босс, беги дальше. Не задерживай работу.

Рорк пошел дальше. В какие-то моменты он мог быть собранным, бесстрастным, мог остановиться и дать указания, словно это был не его дом, а некая математическая задача. Тогда он особенно остро ощущал существование труб и заклепок, а собственная его личность исчезала. Были моменты, когда внутри его что-то поднималось – не мысль и не чувство, а волна какой-то физической энергии, и тогда ему хотелось остановиться, оглянуться, ощутить реальность своего Я, вознесенного стальным каркасом, со всех сторон поднимавшегося вокруг яркого, незабываемого существования его тела, оказавшегося самым центром строения. Он не останавливался, а спокойно шел дальше. Но руки его выдавали то, что он хотел утаить. Они сами по себе вытягивались вперед, медленно гладили балки и узлы. Строители заметили это и говорили друг другу:

– Этот парень просто влюблен в свой дом. Он не может не прикасаться к нему.

Строители любили его. Представители подрядчика не любили. Ему с трудом удалось найти подрядчика на строительство дома. От заказа отказалось несколько лучших фирм. «Мы такими вещами не занимаемся», «Нет, не пойдет. Слишком сложно для такого небольшого заказа», «Да кому, к черту, такой дом нужен? Скорее всего, потом от этого психа и денег не дождешься. Ну его к дьяволу», «Никогда ниче-

го подобного не строил и не знаю, как подступиться. Буду, пожалуй, продолжать строить дома, которые и есть дома». Один подрядчик быстро просмотрел планы и, отшвырнув их в сторону, решительно заявил:

– Он стоять не будет.

– Будет, – сказал Рорк.

– Да ну? Кто вы такой, чтобы меня учить, мистер? – небрежно протянул подрядчик.

Рорк нашел маленькую фирму, которая нуждалась в работе и приняла заказ, запросив втридорога на том основании, что сильно рискует, ввязываясь в бредовый эксперимент. Строительство закипело, прорабы были мрачны и послушны, молчанием выражая свое неодобрение, словно ожидая, что их предсказания сбудутся, и казалось, что они будут даже счастливы, если недостроенный дом рухнет им прямо на головы.

Рорк купил старый «форд» и выезжал на площадку гораздо чаще, чем того требовала необходимость. Трудно было сидеть в конторе за столом, стоять у кульмана, силой заставляя себя не ездить на стройку. На стройке же возникали моменты, когда ему хотелось забыть о своем кабинете, о доске, схватить инструменты и начать непосредственно строить дом, как он делал в юности. Ему хотелось построить этот дом собственными руками.

Он шел по площадке, легко переступая через груды досок и мотки проводов, вел записи, хриплым голосом отдавал ко-

роткие распоряжения. Он избегал смотреть в направлении Майка. Но Майк следил за его перемещениями по растущему дому. Всякий раз, когда Рорк проходил мимо, Майк ему понимающе подмигивал. Однажды Майк сказал:

– Сдерживай себя, рыжий. Ты открытый, как книга. Господи, да просто неприлично быть таким счастливым!

Рорк стоял на утесе рядом со стройкой и смотрел на окружающий пейзаж, на широкую серую ленту дороги, извивавшуюся вдоль берега. Мимо, со стороны города, пролетела открытая машина, набитая людьми, направлявшимися на пикник. Возник хаос ярких свитеров и шарфов, трепетавших на ветру; хаос голосов, перекрикивавших ревущий мотор, утрированных приступов смеха. В автомобиле боком сидела девушка, перекинув ноги через бортик. Ее мужская соломенная шляпа сползла на нос. Девушка отчаянно дергала струны гавайской гитары, издавая пронзительные звуки, и вопила: «Хэ-эй!» Эти люди наслаждались одним днем своей жизни; они визжали, радуясь, что сегодня свободны от работы, от тягот пережитых дней. Они работали и несли эти тяготы во имя определенной цели – и это была их цель.

Рорк посмотрел на машину, мчавшуюся мимо. Ему подумалось, что есть различие, очень важное различие, между тем, как ощущают этот день они и как ощущает он. Он попытался осмыслить это различие. Но мгновенно забыл о нем. Вверх по холму с натугой поднимался грузовик, груженный сверкающими плитами шлифованного гранита.

Остин Хэллер часто заезжал посмотреть на дом. Он наблюдал за его ростом с любопытством и непреходящим недоумением. С одинаковой скрупулезностью он изучал дом и Рорка. Ему казалось, что одно как бы не совсем отделимо от другого.

Хэллера, борца против насилия, Рорк приводил в замешательство тем, что был настолько невосприимчив к принуждению, что и сам становился своего рода принуждением, ультиматумом чему-то. Чему именно, Хэллер затруднился определить. Через неделю Хэллер знал, что нашел друга, лучше которого у него не будет никогда, и что в основании этой дружбы лежит совершенное безразличие Рорка к его, Хэллера, персоне. В глубине своего существа Рорк вообще не сознавал, что есть такой Хэллер, не испытывал в нем никакой нужды, ни привязанности, ни потребности. Хэллер чувствовал, что проведена черта, переступать которую он не имеет права. Рорк ничего у него не просил и ничего ему не давал. Но когда Рорк смотрел на него с одобрением, когда Рорк улыбался, когда Рорк хвалил одну из его статей, Хэллер испытывал на удивление чистую радость от похвалы, которая не была ни взяткой, ни подачкой.

Летними вечерами они вместе сидели на выступе скалы на полпути к вершине холма и беседовали, а тьма медленно окутывала перекрытия дома, возвышающегося над ними. Последние лучи солнца отражались на стальных наконечни-

ках стоек.

– Что же мне так нравится в доме, который ты мне строишь, Говард?

– Дом, как и человек, может быть цельным, – сказал Рорк. – Но и в том и в другом случае это бывает крайне редко.

– То есть как?

– А ты подумай. Каждая деталь здесь присутствует лишь потому, что она совершенно необходима дому, и ни по какой другой причине. Отсюда видно, как распланированы интерьеры. Соотношение масс определяется тем, как распределен объем внутри. Украшения определяются методом строительства, тем самым подчеркивается принцип, на котором основано здание. Ты собственными глазами видишь каждое напряжение, каждую опору, благодаря которым дом стоит. Когда смотришь на здание, видишь все стадии его строительства, можешь проследить каждый этап, видишь, как оно возводилось, знаешь, как оно сделано и за счет чего держится. Но тебе доводилось видеть здания с колоннами, которые ничего не поддерживают, с ненужными карнизами, с пилястрами, лепниной, фальшивыми арками и окнами. Ты видел дома, которые выглядят так, будто в них всего один огромный зал: у них массивные колонны и сплошные окна высотой в шесть этажей. Но внутри обнаруживаешь те самые шесть этажей. Наоборот, есть дома, в которых один-единственный зал, но фасад разделен поэтажными фризами, рядами окон. По-

нимаешь разницу между этими домами и твоим? Твой дом создан из его *собственных* потребностей. Остальные же созданы из потребности произвести *впечатление*. Лейтмотив твоего дома – в самом доме. Лейтмотив других домов – в публике, которая будет на них смотреть.

– А знаешь, я ведь тоже по-своему это чувствовал. Мне казалось, что, когда я перееду в этот дом, у меня начнется совершенно новая жизнь и даже в самых обыденных моих занятиях появится некая честность, некое достоинство, которое мне трудно определить словами. Не удивляйся, если я скажу тебе, что у меня такое чувство, будто и я сам обязан стать достойным такого жилища.

– Этого я и добивался, – сказал Рорк.

– И кстати, спасибо за то, что ты, похоже, очень основательно подумал о моем комфорте. Здесь я замечаю многое, о чем раньше никогда не думал, но ты все распланировал так, словно знал мои привычки. Например, кабинет – самая важная для меня комната, и ты отвел ему доминирующее положение в доме. Это, кстати, видно и снаружи. И его соседство с библиотекой, удаленность от гостиной и комнат для гостей, чтобы я мог никого не слышать, когда мне этого не надо... и прочее в том же роде. Ты проявил ко мне большое внимание.

– Знаешь, – сказал Рорк, – я ведь о тебе вообще не думал. Я думал только о доме. Возможно, именно поэтому я и сумел проявить к тебе такое внимание.

Дом Хэллера был закончен в ноябре 1926 года.

В январе 1927 года «Трибуна архитектора» опубликовала большую обзорную статью о лучших домах, построенных в Америке в прошедшем году.

Двенадцать больших глянцевых страниц были посвящены фотографиям двадцати четырех домов, которые редакторы отобрали в качестве наивысших достижений архитектуры. Дом Хэллера упомянут не был.

Нью-йоркские газеты в рубриках, посвященных недвижимости, каждое воскресенье публиковали краткие сведения о достойных внимания новых жилых постройках в городе и окрестностях. Сведений о доме Хэллера не было.

Ежегодник Американской гильдии архитекторов, представивший великолепно выполненные репродукции зданий, которые гильдия сочла лучшими в стране, под заголовком «Глядя в будущее», ни словом не обмолвился о доме Хэллера.

Было немало торжественных собраний, на которых ораторы поднимались на трибуны и обращались к аудитории с речами о выдающемся прогрессе в американской архитектуре. О доме Хэллера ни один из ораторов не сказал ни слова.

Некоторые мнения высказывались в клубных комнатах гильдии.

– Это позор для всей страны, – заявил Ралстон Холкомб, – что не запрещено строить такие штуки, как дом Хэллера. Это марает всю нашу профессию. Необходим закон...

– Вот такие сооружения и отпугивают клиента, – сказал Джон Эрик Снайт. – Посмотрят на такой домик и сразу решат, что все архитекторы чокнутые.

– Не вижу никаких причин для негодования, – сказал Гордон Л.Прескотт. – По-моему, это сооружение безумно смешно. Нечто среднее между бензоколонкой и тем, как в комиксах изображают ракету на Луну.

– Подождем пару лет, – сказал Юджин Петтингилл, – тогда и увидим. Эта штука рухнет, словно карточный домик.

– Зачем же говорить о годах? – сказал Гай Франкон. – Эти модернистские штучки выдерживают один сезон, самое большее. Владельцу эта ерунда мгновенно осточертеет, и он сломя голову кинется искать домик в добром старом ранне-колониальном стиле.

Дом Хэллера прославился на всю округу. Люди специально делали крюк и останавливали машины на дороге перед домом, глазели на него, показывали пальцами, хихикали. Заправщики на бензоколонке гнусно ухмылялись, когда мимо проезжал автомобиль Хэллера. Его кухарке приходилось терпеть презрительные взгляды торговцев, когда она ходила за покупками. В округе дом Хэллера был известен под названием дурдом.

Питер Китинг с довольной улыбкой говорил своим друзьям и коллегам:

– Ну не надо, не надо так говорить о нем. Я давно знаю Говарда Рорка, и он вполне талантлив, вполне. Он даже ка-

кое-то время работал у меня. Просто у него в этом случае немножко ум за разум зашел. Но он еще научится. У него есть будущее... Ах, вам так не кажется? Вам серьезно так не кажется?

Элсворт М. Тухи, без комментария которого отныне не поднималось из американской земли ни одно сооружение из камня, не знал, что построен дом Хэллера. Во всяком случае, судя по его рубрике. Он не считал нужным сообщить своим читателям о существовании подобного строения, хотя бы даже и с целью осуждения. Он молчал.

XII

Рубрика «Наблюдения и размышления» (ее вел Альва Скаррет) появлялась ежедневно на первой полосе «Знамени». Это был верный поводырь, источник вдохновения и основатель общественной философии в провинциальных городках по всей Америке. Много лет назад в этой колонке появилось знаменитое утверждение: «Всем нам будет гораздо лучше, если мы забудем высокопарные идеи нашей пижонской цивилизации и обратим больше внимания на то, что задолго до нас знали дикари, – уважение к матери». Альва Скаррет – холостяк, заработавший два миллиона долларов, прекрасно играл в гольф и служил главным редактором у Винанда.

Именно Альве Скаррету принадлежала идея начать кампанию против тяжелых условий жизни в трущобах и против акул-домовладельцев. Кампания велась в «Знамени» уже три недели. Материалами такого рода Альва Скаррет просто наслаждался. В них были и «человеческий интерес», и социальный подтекст. Они прекрасно сочетались с публикуемыми в воскресных приложениях иллюстрациями, изображающими девушек, бросавшихся в реку (при этом юбки у них задирались значительно выше колен). С их помощью стремительно росли тиражи. Они покрывали позором акул, владевших несколькими кварталами возле Ист-Ривер и выбранных

главными злодеями в текущей кампании. Акулы эти отказались продать свои кварталы некой малоизвестной фирме по торговле недвижимостью, но в конце кампании они уступили. Никто не смог бы доказать, что фирма, приобретавшая трущобные кварталы, принадлежала некой компании, которая, в свою очередь, принадлежала Гейлу Винанду.

Газеты Винанда не могли долго существовать без очередной кампании. Одну они только что завершили – посвященную современной авиации. В воскресном семейном приложении прошел ряд научно-популярных статей об истории воздухоплавания, иллюстрированных чертежами летающих машин Леонардо да Винчи и далее, вплоть до фотографий новейшего бомбардировщика. Прилагалось и весьма привлекательное изображение Икара, извивающегося в алом пламени. Тело его было сине-зеленым, восковые крылья желтыми, а дым лиловым. Имелись и картинки, изображающие прокаженную старуху с горящими глазами и хрустальным шаром, которая еще в одиннадцатом веке предсказала, что человек будет летать, а также с летучими мышами, вампирами и оборотнями.

Они также провели конкурс авиамodelей, открытый для всех мальчишек младше десяти лет, которым достаточно было лишь оформить три новые подписки на «Знамя».

Гейл Винанд, опытный летчик, в одиночку совершил перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на маленьком, специально построенном самолете, который обошелся в сто тысяч

долларов, и побил трансконтинентальный рекорд скорости. При полете к Нью-Йорку он чуть-чуть ошибся в расчетах и совершил вынужденную посадку на скалистом пастбище. Посадка была очень рискованная, но Винанд выполнил ее безукоризненно. По чистой случайности на месте оказалась бригада фотографов из «Знамени». Гейл Винанд вышел из самолета. Такое происшествие потрясло бы любого аса. Винанд же стоял перед камерами, держа сигарету между двумя несколько не дрожавшими пальцами, а лацкан его летной куртки украшала безукоризненная гардения. Когда его спросили, каково его первое желание после благополучного приземления, он изъявил желание поцеловать самую привлекательную из всех присутствующих женщин, выбрал из толпы самую неряшливую старую каргу и, склонившись с серьезным видом, поцеловал ее в лоб, пояснив, что она напомнила ему мать.

Затем, начиная кампанию с трущобами, Винанд сказал Альве Скаррету: «Действуй. Выжми из этого все, что сможешь», – после чего отправился на своей яхте в кругосветный круиз в сопровождении очаровательной авиаторши двадцати четырех лет, которой он подарил свой трансконтинентальный самолет.

Альва Скаррет начал действовать. Среди многих других шагов в этой кампании он подрядил Доминик Франкон обследовать состояние квартир в трущобах и собрать «человеческий материал». Доминик Франкон только что возврати-

лась из летнего отпуска в Биаррице. Она неизменно брала летний отпуск полностью, а Альва Скаррет неизменно его предоставлял, поскольку она была одной из его любимых сотрудниц, постоянно озадачивала его, и он знал, что она может бросить эту работу, когда ей заблагорассудится.

Доминик Франкон две недели прожила в спальне-мансарде в доходном доме в Ист-Сайде⁵². В комнате была стеклянная крыша, но не было окон, воды, приходилось пешком подниматься на шестой этаж. Она готовила на кухне этажом ниже, в квартире, где жило многочисленное семейство. Она ходила к соседям в гости, по вечерам сидела на площадках пожарных лестниц и посещала грошковые кинотеатры с девушками из округи.

Она носила потертые юбки и блузки. В этой обстановке природная хрупкость придавала ей такой вид, будто она изнемогает от нужды и лишений. Соседи не сомневались, что у нее туберкулез. Но двигалась она так же, как и в гостиной Кики Холкомб, – спокойно, грациозно, уверенно. Она мыла полы в своей комнате, чистила картошку, принимала холодные ванны в жестяной лохани. Раньше она никогда ничем подобным не занималась, но все у нее получалось очень ловко. У нее была врожденная способность к действию, способность, которая совершенно не гармонировала с ее внешностью. Новый жизненный фон ее несколько не угнетал. Тру-

⁵² *Ист-Сайд* – часть Манхэттена, расположенная к востоку от Центрального парка.

щобы были ей так же безразличны, как и светские гостиные.

К концу второй недели она вернулась в свою квартиру-пентхаус⁵³ на крыше отеля, выходящего в Центральный парк, а в «Знамени» появились ее статьи о жизни в трущобах. Они были точны, беспощадны, талантливы.

На званом обеде ей пришлось выслушать массу недоуменных вопросов:

– Дорогая моя, неужели действительно вы написали все это?

– Доминик, вы что, в самом деле жили в этих трущобах?

– О да, в том самом доме на Двенадцатой восточной, который принадлежит вам, миссис Палмер, – отвечала она, лениво поводя рукой в изумрудном браслете, который был слишком широк для ее тонкого запястья. – Там у вас канализация засоряется через день и нечистоты заливают весь двор. На солнце они отливают синим и фиолетовым безупречных радужных оттенков... А в квартале, которым вы, мистер Брукс, управляете как опекун Клэриджей, на всех потолках растут совершенно очаровательные сталактиты, – говорила она, наклоня златокудрую голову к приколотому к корсажу букету, где на матовых лепестках белых гардений поблескивали капельки воды.

Ее попросили выступить на собрании благотворительных

⁵³ *Квартира-пентхаус* – роскошный многоквартирный дом на крыше многоэтажного здания, иногда с садиком, бассейном и т. п.; доступна только весьма состоятельным людям.

организаций. Собрание было очень важное, с радикальным, боевым настроем, и организовали его самые выдающиеся в этой области женщины. Альва Скаррет был очень обрадован и благословил ее.

– Иди, детка, – сказал он. – И не жалея красок. Благотворительные организации нам очень нужны.

Она стояла за трибуной в душном зале и смотрела на плоские лица, непристойно упивавшиеся собственной добродетелью. Она говорила спокойно, без бурных интонаций. Среди прочего она сказала:

– Семья, живущая на первом этаже, ближе к черному ходу, не утруждает себя квартирной платой, а дети не могут ходить в школу из-за отсутствия одежды. Но в забегаловке на углу отца семейства поят в кредит. Он здоров и имеет хорошую работу... Парочка со второго этажа только что купила новый радиоприемник за шестьдесят девять долларов и девяносто пять центов наличными. На четвертом этаже отец семейства ни одного дня в своей жизни не проработал и не собирается. У него девять детей, все на попечении церковного прихода. Скоро появится и десятый...

Когда она закончила, раздалось несколько сердитых хлопков. Она подняла руку и сказала:

– Не надо аплодисментов. Я на них и не рассчитывала. – И вежливо спросила: – Есть ли вопросы?

Вопросов не было.

Вернувшись домой, она застала там Альву Скаррета, кото-

рый подждал ее. В гостиной ее квартиры он выглядел нелепо, пристроив свое огромное тело на краешке изящного стула. Он напоминал сторбившуюся горгулью⁵⁴ на фоне панорамы города, переливающейся огнями за сплошной стеной из стекла. Город походил на настенную роспись, предназначенную для украшения комнаты и придания ей завершенности. Тонкие линии спиц на фоне черного неба продолжали изящные линии мебели. Огни, переливавшиеся в далеких окнах, отбрасывали отражения на непокрытый натертый до блеска пол. Холодная точность прямоугольных строений снаружи гармонировала с холодной и жесткой элегантностью внутреннего убранства. Альва Скаррет нарушал эту гармонию. Он походил одновременно и на доброго сельского доктора, и на карточного шулера. На его тяжелом лице была добродушная отеческая улыбка, которая служила ему и фирменным знаком, и универсальной отмычкой. Он умел выглядеть так, что доброта его улыбки несколько не преуменьшала, а напротив, подчеркивала серьезность и солидность его фигуры. Впечатление доброты несколько убавлял длинный, тонкий, крючковатый нос, который зато добавлял солидности. Живот, свисавший почти до колен, солидности убавлял, зато добавлял доброты. Он поднялся, расплылся в улыбке и взял Доминик за руку.

– Решил заглянуть по пути домой, – сказал он. – Надо кое-

⁵⁴ *Горгулья* – желоб водосточной трубы в виде открытой пасти фантастического чудовища; мотив, характерный для готической архитектуры.

что тебе сказать. Как прошло собрание, детка?

– Как я и ожидала.

Она сорвала шляпку и бросила ее на первый попавшийся стул. Волосы ее падали косой челкой на лоб и прямой волной ниспадали на плечи. Они были гладкими, густыми и несколько напоминали купальную шапочку из светлого золота. Она подошла к окну и остановилась, глядя на город. Не оборачиваясь, она спросила:

– Что же ты мне хотел сказать?

Альва Скаррет смотрел на нее с удовольствием. Он давно уже оставил все попытки сближения с ней, лишь иногда без особой надобности брал ее за руку или трепал по плечу. Никаких надежд на ее счет он уже не лелеял, но в душе его жило некое смутное, полусознываемое чувство, которое он сам для себя выражал так: «Чем черт не шутит...»

– У меня хорошие новости для тебя, дитя мое, – сказал он. – Я тут разработал небольшой план, так, маленькую реорганизацию, и решил, что кое-что надо бы объединить под рубрикой «Жизнь женщины». Понимаешь, вопросы образования, домашнего хозяйства, ухода за детьми, правонарушений среди несовершеннолетних и все в таком духе. И всем будет руководить один человек. А лучшей женщины для этой работы, чем моя миленькая крошка, я не вижу.

– Ты меня имеешь в виду? – не оборачиваясь, спросила она.

– А кого же еще? Как только Гейл вернется, я получу его

согласие.

Она повернулась и посмотрела на него, скрестив руки и держась ладонями за локти.

– Спасибо, Альва, – сказала она. – Только я не хочу.

– Как это не хочешь?!

– Так вот не хочу.

– Ради всего святого, пойми же ты, какой это будет большой шаг!

– Шаг куда?

– К блестящей карьере.

– Я никогда не говорила, что собираюсь делать карьеру.

– Но не хочешь же ты вечно вести занюханную колонку на задних полосах?

– А кто говорит, что вечно? Пока не надоест.

– Но подумай о том, чего ты можешь добиться в большой игре! Подумай, что для тебя сможет сделать Гейл, как только ты привлечешь его внимание!

– У меня нет ни малейшего желания привлечь его внимание.

– Но, Доминик, ты нужна нам. После твоего сегодняшнего выступления все женщины будут стоять за тебя горой.

– Не думаю.

– Почему? Я зарезервировал две колонки сегодняшнего набора на собрание и на твою речь.

Она взяла телефон и, протянув ему трубку, сказала:

– Распорядись, пожалуйста, забить их другим материа-

ЛОМ.

– Почему?

Порывшись в ворохе бумаг на столе, она нашла несколько листков, отпечатанных на машинке, и вручила ему.

– Вот речь, которую я сегодня произнесла, – сказала она. Он просмотрел листки. Он не сказал ни слова, но один раз схватился за голову. Потом он сорвал трубку и распорядился дать как можно более краткое сообщение о собрании и не упоминать имени оратора.

– Прекрасно, – сказала Доминик, когда он бросил трубку. – Я уволена?

Он скорбно покачал головой:

– А ты хочешь, чтобы тебя уволили?

– Не обязательно.

– Я это дело спущу на тормозах, – пробормотал он. – Гейлу ничего не скажу.

– Как хочешь. Мне решительно все равно.

– Послушай, Доминик... я знаю, что не вправе задавать вопросы... но только почему же ты вечно выкидываешь такие номера?

– Без всякой причины.

– Но, понимаешь, я же слышал о том шикарном приеме, где ты высказывалась на эту тему вполне определенно. А потом ты идешь на собрание радикалов и говоришь там совершенно другое.

– Но, однако же, и то и другое – правда, не так ли?

– Да, конечно, но разве нельзя было поменять местами те обстоятельства, при которых ты соизволила высказать свое мнение?

– Тогда в этом не было бы никакого смысла.

– А в том, что ты сделала, смысл есть?

– Нет. Никакого. Но это меня позабавило.

– Я не могу тебя понять, Доминик. Ты и раньше так поступала. Так замечательно, талантливо работаешь – но как раз в тот самый момент, когда ты можешь сделать настоящий шаг вперед, все портишь, откалывая очередной номер вроде этого. Почему?

– Возможно, именно поэтому.

– Так скажи же мне, скажи как другу, ведь ты мне нравишься, ты мне интересна, – к чему ты на самом деле стремишься?

– По-моему, это достаточно очевидно. Я не стремлюсь абсолютно ни к чему.

Он беспомощно развел руками. Она весело улыбнулась:

– К чему такой скорбный вид? Ты мне тоже нравишься, Альва, и ты мне тоже интересен. Мне даже нравится разговаривать с тобой, что еще лучше. Садись, расслабься, сейчас принесу выпить. Тебе, Альва, надо выпить.

Она принесла ему стакан матового стекла. Позвякивание льдинок нарушило наступившую тишину.

– Ты такой славный ребенок, Доминик, – сказал он.

– Конечно. Я такая.

Она уселась на краешек стола, опершись ладонями сзади, прогнулась на выпрямленных руках, медленно покачивая ногами.

– Знаешь, Альва, было бы просто ужасно, если бы у меня была работа, которой бы мне действительно хотелось.

– Какие глупости! Какие невероятные глупости! Что ты этим хочешь сказать?

– То, что сказала. Было бы ужасно иметь работу, которая нравится и которую боишься потерять.

– Почему?

– Потому что тогда пришлось бы зависеть от тебя. Ты замечательный человек, Альва, но в качестве источника вдохновения – не очень. Было бы, наверное, не очень красиво, если бы я стала раболепствовать и съезживаться при виде кнута в твоих ручках... Нет, нет, не возражай. Конечно, это был бы такой маленький, интеллигентный кнутик, но от этого все было бы еще гнуснее. Мне пришлось бы зависеть от нашего босса Гейла. О, я не сомневаюсь, что он великий человек, но только глаза бы мои его не видели.

– Откуда у тебя такая нелепая позиция? Ты же знаешь, что и Гейл, и я – мы для тебя на все готовы, и лично я...

– Дело не только в этом, Альва. Не в одном тебе. Если бы я нашла работу, дело, идеал или человека, который мне нужен, я бы поневоле стала зависимой от всех. Все на свете взаимосвязано. Нити от одного идут к чему-то другому. И мы все окружены этой сетью, она ждет нас, и любое наше же-

лание затягивает нас в нее. Тебе чего-то хочется, и это что-то дорого для тебя. Но ты не знаешь, кто пытается вырвать самое дорогое у тебя из рук. Знать это невозможно, все может быть очень запутанно, очень далеко от тебя. Но ведь кто-то пытается сделать это, и ты начинаешь бояться всех. Ты начинаешь раболопствовать, пресмыкаться, кланяться, соглашаться – лишь бы тебе позволили сохранить самое дорогое. И только посмотри, с кем тогда придется соглашаться!

– Если я правильно понимаю, ты критикуешь человечество в целом...

– Знаешь, это такая своеобразная вещь – наше представление о человечестве в целом. Когда мы произносим эти слова, перед нами возникает некая туманная картинка – что-то величественное, большое, важное. На самом же деле единственное известное нам человечество в целом – это те люди, которых мы встречаем в жизни. Посмотри на них! Вызывает ли у тебя кто-нибудь ощущение величественности и важности? Домохозяйки с авоськами, слюнявые детишки, которые пишат всякую похабщину на тротуарах, пьяные светские львята. Или же другие, ничем не отличающиеся от них в духовном отношении. Кстати, можно отчасти уважать людей, когда они страдают. Тогда в них появляется некое благородство. Но случалось ли тебе видеть их, когда они наслаждаются жизнью? Вот тогда ты и видишь истину. Посмотри на тех, кто тратит деньги, заработанные рабским трудом, в увеселительных парках и балаганах. Посмотри на тех, кто богат

и перед кем открыт весь мир. Обрати внимание, какие развлечения они предпочитают. Понаблюдай за ними в их дорогих кабаках. Вот оно, ваше человечество в целом. Не желаю иметь с ним ничего общего.

– Но, черт побери, нельзя же так смотреть на все! Это совсем не полная картина. Даже в худшем из нас есть что-то хорошее, черта, которая искупает все остальное.

– Тем хуже. Разве можно вдохновиться при виде человека, который совершил героический поступок, а потом узнать, что в свободное время он ходит в оперетку? Или видеть человека, создавшего великую картину, и узнать, что он спит с каждой подвернувшейся потаскухой?

– Так чего же ты хочешь? Совершенства?

– Или ничего. Поэтому, видишь ли, я и соглашаюсь на ничто.

– Это чепуха.

– Я остановилась на одном желании, которое действительно можно себе позволить. Это свобода, Альва, свобода.

– И что ты называешь свободой?

– Ни о чем не просить. Ни на что не надеяться. Ни от чего не зависеть.

– А если тебе встретится что-то, чего ты хотела?

– Не встретится. Я предпочту этого не заметить. Ведь это все равно будет частью вашего прелестного мира. Мне придется делиться им со всеми остальными. А я не хочу. Знаешь, я никогда второй раз не раскрываю великие книги, ко-

торые когда-то прочла и полюбила. Мне больно думать, что их читали другие глаза, представлять себе эти глаза. Такие вещи делить ни с кем нельзя. По крайней мере, не с этими людьми.

– Доминик, но испытывать к чему-либо столь сильные чувства ненормально.

– По-другому я чувствовать не умею. Сильно или вообще никак.

– Доминик, дорогая моя, – сказал Скаррет с искренней озабоченностью. – Как жаль, что я не твой отец. В детстве тебе, наверное, пришлось пережить трагедию?

– Не было никакой трагедии. У меня было прекрасное детство. Свободное, мирное, никто мне особо не докучал. Пожалуй, мне слишком часто бывало скучно. Но я к этому привыкла.

– Полагаю, что ты просто продукт нашей несчастной эпохи. Я всегда так говорил. Мы слишком циничны, слишком развращены. Если бы мы с надлежащим смирением вернулись к бесхитростным добродетелям...

– Альва, как ты можешь нести такую чушь? Это годится только для твоих передовиц и... – Она остановилась, посмотрев ему в глаза: в них были недоумение и обида. Потом она рассмеялась: – Я ошиблась. Ты действительно во все это веришь. Или убежден, что веришь. О Альва! Именно за это я тебя и люблю. Именно поэтому я поступаю сейчас так, как на сегодняшнем собрании.

– То есть? – озадаченно спросил он.

– Говорю так, как говорю с тобой – таким, каков ты есть.

Очень приятно разговаривать с тобой о таких вещах. Знаешь, Альва, первобытные народы создавали статуи своих богов по образу и подобию человека. Представляешь, как выглядела бы твоя статуя – в голом виде, с животиком и прочим?

– А это-то тут при чем?

– Ни при чем, милый. Прости меня. – Она добавила: – Знаешь, я люблю статуи обнаженных мужчин. Не стой с таким глупым видом. Я же сказала – статуи. Особенно одну, которая у меня была. Якобы изображение Гелиоса⁵⁵. Я вывезла ее из одного европейского музея. Заполучить ее было ужасно трудно – она, разумеется, не продавалась. По-моему, я в нее влюбилась. Альва, я увезла эту статую домой.

– Где же она? Хотелось бы, для разнообразия, взглянуть на что-то, что тебе нравится.

– Она разбилась.

– Разбилась? Музейный экспонат? Как это произошло?

– Я сама ее разбила.

– Как?

– Выбросила в вентиляционную шахту. Там внизу бетонный пол.

– Ты с ума сошла? Зачем?

⁵⁵ *Гелиос* – в греческой мифологии бог Солнца (отождествлялся с Фебом-Аполлоном).

– Чтобы никто другой никогда не мог ее увидеть.

– Доминик!

Она резко тряхнула головой, словно отгоняя от себя эту тему. По прямым густым волосам пробежала волна, словно по поверхности наполненного ртутью сосуда. Она сказала:

– Извини, дорогой. У меня и в мыслях не было тебя шокировать. Мне казалось, что я могу поговорить с тобой, поскольку ты единственный человек, которого ничем не проймешь. Мне не следовало бы так делать. Наверное, это было бессмысленно. – Она легко спрыгнула с краешка стола, на котором сидела. – Беги домой, Альва, – сказала она. – Уже поздно. Я устала. Увидимся завтра.

Гай Франкон читал статьи дочери. Он слышал о ее высказываниях на приеме и на благотворительном собрании. Он понял только одно – именно такой последовательности действий и следовало ожидать от его дочери. Эта мысль не давала ему покоя, смешиваясь с недоумением и смутным предчувствием какой-то опасности, возникавшим у него всякий раз, когда он думал о Доминик. Он задавался вопросом: может быть, он и вправду ненавидит собственную дочь?

Но когда бы он ни спрашивал себя об этом, в его сознании невольно возникала одна и та же картина. Она относилась к детству Доминик, к одному дню давно позабытого лета в их загородном поместье в Коннектикуте. Остальные детали этого дня он забыл, забыл и то, что привело к моменту, вре-

завшемся ему в память. Но он помнил, что стоял на террасе и смотрел, как она прыгает через высокую живую изгородь на краю лужайки. Изгородь казалась слишком высокой для ее крошечного тельца. Он еще успел подумать, что ей ни за что не перепрыгнуть, но в то же мгновение увидел, как она, торжествуя, перелетела через зеленый барьер. Он не мог вспомнить ни начала, ни конца этого прыжка, но все еще видел, как на кинокадре, вырезанном и застывшем навсегда, то мгновение, когда ее тело повисло в пространстве, – широко раскинутые длинные ноги, взметнувшиеся тонкие руки, напряженные ладони, белое платье и светлые волосы, реющие на ветру, как два полотнища, – маленькое яркое пятнышко ее тела в великом порыве восторга и свободы.

Такого порыва он больше никогда не видел.

Он не знал, почему его память запечатлела то мгновение, какое осознание его важности, тогда еще не понятое, сохранило этот момент, тогда как многое куда более существенное стерлось навсегда. Он не знал, почему этот момент непременно возникал всякий раз перед его глазами, когда он начинал испытывать озлобление по отношению к дочери. Он не знал, почему, как только этот момент возникал перед его взором, его переполняла щемящая, мучительная нежность. Он говорил себе, что просто естественная отцовская привязанность проявляется помимо его воли. Но в глубине души, неловко, неосмысленно, он хотел помочь ей, не зная и не желая знать, в чем, собственно, должна заключаться эта по-

мощь.

И он начал приглядываться к Питеру Китингу. Он начал склоняться к тому решению, в котором сам себе не хотел признаться. Личность Питера Китинга действовала на него успокаивающе благотворно, и он чувствовал, что незамысловатое и устойчивое душевное здоровье Китинга могло бы послужить отличной опорой неуравновешенности и непоследовательности Доминик.

Китинг не признавался, что он упорно и безрезультатно добивался свидания с Доминик. Он уже давно раздобыл у Франкона номер ее телефона и часто звонил ей. Она снимала трубку, весело смеялась и говорила, что, разумеется, поводится с ним, поскольку прекрасно понимает, что этого не избежать, но в ближайшие недели очень занята, поэтому не будет ли он любезен позвонить ей в начале следующего месяца?

Франкон догадывался о положении дел. Он сказал Китингу, что пригласит Доминик на обед, где они и смогут увидеться.

– То есть я постараюсь пригласить ее, – уточнил он. – Она, конечно, откажется.

Но Доминик в очередной раз удивила его. Она тут же радостно приняла приглашение.

Она встретилась с ними в ресторане, улыбаясь так, словно давно мечтала об этой милой встрече. Она оживленно разговаривала, и Китинг почувствовал, что совершенно очарован

ею, что ему удивительно легко с ней и что ему совершенно непонятно, как он мог бояться ее. Через полчаса она взглянула на Франкона и сказала:

– Так мило, отец, что ты уделил столько времени встрече со мной. Особенно учитывая, что ты так занят и у тебя так много деловых встреч.

Лицо Франкона оцепенело от ужаса.

– Боже мой, Доминик, ты мне как раз напомнила...

– У тебя свидание, о котором ты забыл? – нежно спросила она.

– Да, проклятье! Совершенно упустил из виду. Сегодня утром позвонил старый Эндрю Колсон, а я забыл записать. Он настоятельно желает видеть меня в два часа. Вы же понимаете, я просто не имею никакой возможности отказаться от встречи с Колсоном, черт возьми! И надо же, чтобы именно сегодня... – Он добавил с подозрительным видом: – Откуда ты об этом узнала?

– Да я вовсе ничего не знала. Но не беда, отец. Мы с мистером Китингом простим тебя и прекрасно отобедаем вдвоем. У меня сегодня никаких срочных дел нет, так что не тревожься, я от него никуда не убегу.

Франкон подумал, не поняла ли она, что это оправдание он придумал заранее, чтобы оставить ее наедине с Китингом. Определенно он сказать не мог. Она смотрела ему прямо в глаза, искренности в ее взгляде было чуть больше, чем необходимо. Он был рад удалиться.

Доминик обернулась к Китингу со взором столь ласковым, что ничего, кроме презрения, он выразить не мог.

– Теперь можно и отдохнуть, – сказала она. – Мы оба знаем, чего добивается отец, и это вполне нормально. Не смущайтесь. Я же не смущаюсь. Очень хорошо, что отец у вас на поводке. Но я знаю, что, если он будет тянуть вас за собой вместе с поводком, вам это не пойдет на пользу. Так что давайте забудем обо всем и займемся обедом.

Он хотел подняться и уйти, но понял, испытывая беспомощную ярость, что не может. Она сказала:

– Не хмурьтесь, Питер. Можете называть меня просто Доминик, потому что рано или поздно мы все равно начнем называть друг друга по имени. Наверное, мы с вами будем часто встречаться. Я встречаюсь с большим количеством людей, а отцу будет приятно, если вы войдете в их число. Так почему бы и нет?

На протяжении всего обеда она разговаривала с ним как со старым другом, весело и откровенно. В ее откровенности, которая, казалось, показывала, что скрывать ей совершенно нечего, но особо лезть ей в душу не стоит, было нечто неуютное. Изысканно благожелательные манеры предполагали, что в их отношениях нет и не может быть ничего серьезного, что она просто не снизойдет до проявления недружелюбия к нему. Он знал, что уже почти ненавидит ее. Но он зачарованно следил за движениями ее губ, складывающимися в слова, смотрел на ноги, небрежно, но очень уверенно

закинутые одна на другую – так, словно складывали какой-то дорогой инструмент. Он не мог не испытывать удивленного восхищения, как и в тот раз, когда увидел ее впервые.

Когда они выходили, она сказала:

– Питер, не сводишь ли ты меня сегодня в театр? На какую пьесу, мне все равно. Заезжай за мной после ужина. Отцу расскажи, это ему понравится.

– Хотя, если подумать, особых причин для радости у него нет, – сказал Китинг, – да и у меня, пожалуй, тоже. Но я все равно буду счастлив сходить с тобой в театр, Доминик.

– А почему это у тебя нет причин для радости?

– Потому что у тебя на самом деле сегодня нет желания ни идти в театр, ни встречаться со мной.

– Решительно никакого. Ты начинаешь мне нравиться, Питер. Заезжай за мной в половине девятого.

Когда Китинг вернулся в бюро, Франкон тут же вызвал его наверх.

– Ну? – нетерпеливо спросил он.

– В чем дело, Гай? – невинным голосом спросил Китинг. – Что ты так растревожился?

– Ну, я... в общем, честно говоря, мне интересно знать, поладите вы с ней или нет. По-моему, ты мог бы оказать на нее положительное влияние. Так что же было?

– Ничего. Мы прекрасно провели время. Кормят в твоих ресторанах отменно, ты же знаешь... Да, кстати, сегодня я веду твою дочь в театр.

– Не может быть!

– Точно.

– И как это тебе удалось?

Китинг пожал плечами:

– Я же говорил тебе, что Доминик бояться не надо.

– Я не боюсь, но... А, так она для тебя уже Доминик? Поздравляю, Питер... Я ее вовсе не боюсь, только никак не могу в ней разобраться. Она никого к себе не подпускает. У нее не было ни одной подруги, даже в детском садике. Вокруг нее всегда толпа обожателей, но ни одного друга. Не знаю, что и думать. Вот и сейчас она живет сама по себе, ее вечно окружают толпы мужчин и...

– Ну, Гай, нельзя же думать что-то порочное о собственной дочери.

– Да я и не думаю! В том-то и беда, что не думаю. Хотел бы, но не могу. Но ей двадцать четыре года, Питер, а она девственница, я это знаю наверняка. Ведь это нетрудно определить, просто посмотрев на женщину. Я не моралист, Питер, и считаю, что такое положение ненормально. В ее возрасте, с ее внешностью, при той совершенно свободной жизни, которую она ведет, это абсолютно неестественно. Я молю Бога, чтобы она вышла замуж. Честное слово... Разумеется, это должно остаться между нами. Пойми меня правильно и не сочти мои слова за приглашение.

– Ну разумеется, нет.

– Кстати, Питер, пока тебя не было, звонили из больницы.

Сказали, что бедняге Лусиусу намного лучше. Надеются, что он выкарабкается.

У Лусиуса Н. Хейера был удар, и Китинг, хоть и проявлял на людях немалое беспокойство о его здоровье, так и не удостоился посетить его в больнице.

– Я очень рад, – сказал Китинг.

– Но я не думаю, что он когда-нибудь сможет вернуться к работе. Он стареет, Питер... Да, стареет... Наступает возраст, когда нельзя больше обременять себя бизнесом. – Зажав между двумя пальцами нож для разрезания бумаги, Франкон задумчиво стучал им по краю настольного календаря. – Рано или поздно такое случается со всеми нами, Питер... Надо думать о будущем...

Китинг сидел на полу в своей гостиной у камина с имитацией поленьев. Он сложил руки на коленях и слушал расспросы матери: какая Доминик из себя, как одевается, что она ему сказала и сколько, по его мнению, денег досталось ей от матери.

Он часто встречался с Доминик. Сейчас он только что вернулся с вечера, проведенного вместе с ней в ночных клубах. Она всегда принимала его приглашения. Он не понимал, что означает ее отношение – не намеренное ли подтверждение того, что ей проще демонстрировать ему свое пренебрежение, часто бывая в его обществе, нежели отказывая ему в свиданиях? Но каждый раз, встречаясь с ней, он очень охот-

но планировал следующую встречу. С Кэтрин он не виделся уже месяц. Она занималась исследовательской работой, которую доверил ей дядя для подготовки серии его лекций.

Миссис Китинг сидела под лампой, зашивая небольшую прореху на подкладке парадного костюма Питера. Вперемешку с вопросами она упрекала его – зачем он сидит на полу в парадных брюках и лучшей выходной рубашке. Он не обращал внимания ни на упреки, ни на вопросы. Но вместе с раздражением и скукой он ощущал непонятное чувство облегчения, словно упрямый поток материнских слов, подталкивая его, придавал ему сил. Время от времени он отвечал:

– Да... Нет... Не знаю... Да, она красива, очень красива...
Мама, ужасно поздно, я устал, пойду-ка я спать...

В дверь позвонили.

– Надо же, – сказала миссис Китинг. – Кто бы это, в такое-то время?

Китинг поднялся, пожал плечами и лениво направился к дверям.

Это была Кэтрин. Она стояла, сжав обеими руками старую бесформенную сумочку. Вид у нее был одновременно решительный и неуверенный. Отступив на шаг, она сказала:

– Добрый вечер, Питер. Можно войти? Мне надо поговорить с тобой.

– Кэти! Конечно же! Как мило, что ты зашла! Заходи же. Мама, это Кэти.

Миссис Китинг посмотрела на ноги девушки, которые

двигались словно по палубе корабля в большую качку. Она посмотрела на сына и поняла, что что-то произошло и с этим надо разобраться с крайней осторожностью.

– Добрый вечер, Кэтрин, – негромко сказала она. Китинг ничего не сознавал, кроме внезапного радостного толчка, который он ощутил, увидев ее. Эта радость подсказала ему, что ничего не изменилось, что он может быть в ней уверен, что присутствие Кэти разрешает все проблемы. Он забыл подумать, почему она пришла в такой поздний час, почему она впервые, и без приглашения, оказалась у него в квартире.

– Добрый вечер, миссис Китинг, – сказала она нарочито оживленным голосом. – Надеюсь, я вам не помешала, ведь, наверное, уже очень поздно?

– Что вы, дитя мое, нисколько не помешали, – сказала миссис Китинг.

Кэтрин заговорила поспешно, не задумываясь, цепляясь за само звучание слов:

– Я только шляпку сниму... Куда мне ее положить, миссис Китинг? Прямо на стол? А это ничего?.. Нет, наверное, я лучше положу ее на бюро, хотя она сыроватая после улицы... она может испортить лак, а бюро такое милое, я надеюсь, что она не испортит лак...

– Что случилось, Кэти? – спросил Китинг, наконец заметив ее состояние.

Она посмотрела на него, и он увидел, что глаза ее полны ужаса. Губы ее разжались. Она попыталась улыбнуться.

– Кэти! – вскрикнул он. Она ничего не сказала.

– Снимай пальто. Садись сюда, погрейся у огня.

Он подтолкнул к камину скамеечку и заставил Кэтрин сесть. На ней был черный свитер и старая черная юбка – бывшая школьная форма, она не переделалась, направляясь сюда. Кэтрин сидела, сгорбившись, тесно сжав колени. Она заговорила, и, поскольку в голосе ее изливалось страдание, он зазвучал тише и естественнее:

– У тебя такой хороший дом... Теплый, просторный... Ты можешь открывать окна всегда, когда захочешь?

– Кэти, милая, – ласково спросил он, – что случилось?

– Ничего. На самом деле ничего не случилось. Только я должна поговорить с тобой. Сегодня же. Сейчас.

Он посмотрел на миссис Китинг.

– Если хочешь...

– Нет. Все нормально. Миссис Китинг может это слышать. Может быть, будет даже лучше, если она услышит. – Она обернулась к миссис Китинг и самым обычным тоном произнесла: – Видите ли, миссис Китинг, мы с Питером помолвлены. – Повернувшись к нему, она добавила дрогнувшим голосом: – Питер, я хочу, чтобы наша свадьба была сегодня, завтра – как можно быстрее.

Рука миссис Китинг медленно опустилась на колено. Она посмотрела на Кэтрин без всякого выражения и произнесла спокойно, с достоинством, которого Китинг от нее никак не ожидал:

– Я этого не знала. Я очень рада, дорогая.

– Так вы не против? Вы действительно совсем не против? – в отчаянии спросила Кэтрин.

– Отчего же, дитя мое? Такие вещи решать только вам и моему сыну.

– Кэти! – выдохнул он, как только к нему вернулся голос. – Что произошло? Почему как можно скорее?

– Ой, ой... Неужели похоже, будто я... будто со мной та неприятность, которая обычно случается с девушками?.. – Она густо покраснела. – О Боже мой! Нет! Конечно же, нет! Ты же знаешь, что это невозможно! Не подумал же ты, Питер, что я... что я...

– Ну конечно, нет. – Он засмеялся, усевшись на пол ближе к ней и обняв ее за талию. – Успокойся же. Так в чем дело? Ты же знаешь, что, если только захочешь, я женюсь на тебе сегодня же. Но все-таки что случилось?

– Ничего. Я уже успокоилась. Теперь скажу. Ты решишь, будто я сошла с ума. Просто у меня внезапно возникло чувство, что я никогда не выйду за тебя, что со мной происходит что-то ужасное и мне надо спастись.

– Что же с тобой происходит?

– Не знаю. Ничего не происходит. Я весь день работаю над конспектами, и ничего не происходит. Никто не приходит, не звонит. А потом, сегодня вечером, у меня вдруг появилось это чувство. Знаешь, это было как кошмар, неопи- суемый ужас, то, чего в нормальной жизни не происходит.

Просто почувствовала, что я в смертельной опасности, будто что-то на меня надвигается, а мне не убежать, потому что оно не отпустит, что уже слишком поздно.

– От чего тебе не убежать?

– Я точно не знаю. От всего. От всей моей жизни. Знаешь, это похоже на зыбучие пески. Гладкие, такие естественные. Ничего особенного не заметишь, не заподозришь. И легко на них ступаешь. А когда замечаешь, то уже слишком поздно... И я почувствовала, что оно настигает меня, что я не стану твоей женой, что мне надо бежать, бежать немедленно, сейчас или никогда. Разве у тебя никогда не было такого чувства, такого необъяснимого страха?

– Было, – прошептал он.

– Ты не считаешь меня безумной?

– Нет, Кэти. Только чем это было вызвано? Чем-то конкретным?

– Ну... Теперь это кажется таким глупым. – Она хихикнула с виноватым видом. – Дело было так: я сидела у себя в комнате, было прохладно, и я не стала открывать окно. У меня на столе было столько книг и бумаг, что не оставалось места писать. И каждый раз, когда делала запись, я что-то сталкивала локтем со стола. На полу повсюду валялись вороха бумаг и тихонько шуршали, потому что я оставила дверь в гостиную приоткрытой и был небольшой сквозняк. В гостиной работал дядя. Работа у меня спорилась, я сидела уже несколько часов, не замечая времени. И тут вдруг на меня

нахлынуло. Я и сама не знаю почему. Может быть, было душно или из-за тишины. Я не слышала ни звука, в гостиной тоже было тихо, только шуршала бумага, тихо-тихо, будто кого-то душат насмерть. А потом я огляделась и... и не увидела дяди в гостиной, только его тень на стене, огромную скрюченную тень, и она совсем не двигалась. Она была такая большая! – Она содрогнулась. Этот эпизод больше не казался ей глупым. Она прошептала: – И мне стало совсем не по себе. Она не двигалась, эта тень. Но мне казалось, что движется вся бумага, что она тихо-тихо поднимается с пола и тянется к моему горлу и что сейчас я утону. И тогда я закричала. И, Питер, он даже не услышал! Он не услышал! Потому что тень не шелохнулась. И я схватила пальто и шляпку и убежала. Когда я пробежала через гостиную, он, кажется, спросил: «Кэтрин, это ты? Который час? Куда идешь?» – что-то в этом роде, я не уверена. Но я не обернулась, не ответила – не могла. Я его боялась. Боялась дядю Эллсворта, от которого в жизни не слышала ни одного худого слова!..

Вот и все, Питер. Я ничего не понимаю, но я боюсь. Теперь, с тобой, уже не так сильно боюсь, но все-таки...

Миссис Китинг заговорила четко и сухо:

– Ну, дорогая моя, то, что с вами произошло, вполне естественно. Вы слишком много работали, вот и перетрудились и слегка впали в истерику.

– Да... наверное...

– Нет, – глухо сказал Китинг, – это совсем другое. – Он

подумал о громкоговорителе в вестибюле во время митинга забастовщиков. И поспешно прибавил: – Да. Мама права. Ты убиваешь себя работой, Кэти. Этот твой дядя – я ему когда-нибудь шею сверну!

– Ой, да он тут ни при чем. Он не хочет, чтобы я работала. Он часто отбирает у меня книги и велит сходить в кино. Он и сам говорит, что я слишком много работаю. Но мне это нравится. Мне кажется, что каждая моя запись, каждый клочок информации будет потом преподаваться тысячам молодых студентов по всей стране и что именно я помогаю обучать людей, вношу свой маленький вклад в такое великое дело. И тогда я горжусь собой и не хочу прекращать работу. Понимаете? В самом деле, мне не на что жаловаться... А потом... потом как сегодня вечером... Я не знаю, что со мной происходит.

– Послушай, Кэти, мы завтра же получим разрешение на брак и сможем немедленно пожениться, где тебе только захочется.

– Давай, Питер, – прошептала она. – Ты действительно не против? У меня нет веских причин, но я хочу. Я так этого хочу! Тогда я буду знать, что все в порядке. Мы справимся. Я устроюсь на работу, если ты... если ты не совсем готов, или...

– Чепуха. И не думай. Мы справимся. Все это не имеет значения. Главное, давай поженимся, а все остальное решится само собой.

– Милый, ты это понимаешь? Понимаешь?

– Да, Кэти.

– Ну раз уж вы все решили, – сказала миссис Китинг, – давайте-ка, Кэтрин, выпейте чашечку чаю на дорожку. Она вам не повредит.

Она заварила чай. Кэтрин с благодарностью его выпила и, улыбаясь, сказала:

– Я... я всегда боялась, что вы не одобрите, миссис Китинг.

– С чего вы это взяли? – протянула миссис Китинг. Голос ее звучал, однако, не с вопросительной интонацией. – Теперь бегите домой, как хорошая девочка, и хорошенько выспитесь.

– Мама, а можно Кэти остаться здесь на ночь? Она могла бы спать в твоей комнате.

– Ну же, Питер, не надо впадать в истерику. Что подумает ее дядя?

– Ой, не надо, конечно, не надо. Не беспокойся обо мне, Питер. Я поеду домой.

– Но если ты...

– Нет, я не боюсь. Теперь уже нет. Неужели ты подумал, что я действительно боюсь дядю Эллсворта?

– Ну ладно. Только побудь еще немного.

– Что ты, Питер, – сказала миссис Китинг. – Ты же не хочешь, чтобы она бегала по улицам в такую темень?

– Я провожу ее домой.

– Нет, – сказала Кэтрин. – Я не хочу выглядеть глупее, чем я есть. Нет, не провожай меня.

Он поцеловал ее у дверей и сказал:

– Завтра я найду за тобой в десять утра, и мы сходим за разрешением.

– Да, Питер, – прошептала она.

Он закрыл за ней дверь и долго стоял, неосознанно сжимая кулаки. Затем решительно вернулся в гостиную и остановился напротив матери, держа руки в карманах. Он посмотрел на нее молчаливо и требовательно. Миссис Китинг сидела и спокойно смотрела на него, не притворяясь, что не замечает его взгляда, но и не отвечая на этот взгляд.

Потом она спросила:

– Хочешь лечь, Питер?

Китинг ожидал чего угодно, только не этого. Он почувствовал яростное стремление ухватиться за эту возможность, развернуться, выйти из комнаты и бежать. Но он обязан был узнать, что она думает, обязан был оправдать себя.

– Так вот, мама, я не собираюсь выслушивать никаких возражений.

– Я никаких возражений и не высказывала, – заметила миссис Китинг.

– Мама, я хочу, чтобы ты поняла: я люблю Кэти и ничто меня теперь не остановит. Это окончательно.

– Очень хорошо, Питер.

– Не пойму, что тебе в ней не нравится.

– Для тебя больше не имеет значения, что мне нравится, а что не нравится.

– Да нет же, мама, конечно, имеет! Ты же знаешь. Как ты можешь такое говорить?

– Питер, у меня лично нет никаких симпатий или антипатий. О себе я вообще не думаю, потому что ничто в мире не имеет для меня значения, кроме тебя. Может быть, это старомодно, но так уж я устроена. Я знаю, что мне следовало бы вести себя по-другому, потому что дети в наши дни этого не ценят. Но я ничего с собой поделать не могу.

– Мама, но ты же знаешь, что я ценю тебя! Ты знаешь, что я ни за что не согласился бы причинить тебе страдания.

– Ты можешь причинить мне страдания, Питер, только причинив их себе. А это... это трудно вынести...

– Как же это я причиняю себе страдания?

– Что ж, если ты не откажешься выслушать меня...

– Я никогда не отказывался тебя выслушать!

– Если тебе действительно интересно мое мнение, то я скажу, что это похороны двадцати девяти лет моей жизни, похороны всех надежд, которые я связывала с тобой.

– Но почему? Почему?

– Дело не в том, что мне не по душе Кэтрин, Питер. Она мне очень нравится. Она очень милая девушка, если, конечно, не слишком часто впадает в истерику и не выдумывает невесть что. Она девушка порядочная, и я сказала бы, что из нее выйдет отличная жена для любого – любого славного,

порядочного юноши со средними способностями. Но не для тебя, Питер! Не для тебя!

– Но...

– Ты скромн, Питер. Ты слишком скромн. В этом всегда была твоя беда. Ты не умеешь ценить себя. Ты считаешь, что ты такой же, как все.

– Конечно, не считаю! И никому не позволю так считать!

– Тогда пораскинь мозгами! Разве ты не знаешь, что тебя ждет впереди? Разве ты не видишь, как высоко уже поднялся и как высоко еще можешь подняться? У тебя есть шанс стать... ну, если не самым лучшим, то одним из лучших архитекторов страны, и...

– Одним из лучших?! Так вот как ты считаешь? Да если мне не дано быть самым лучшим, единственным великим архитектором своей эпохи, то мне вообще ничего не надо!

– Но такого положения не достигают те, кто пренебрегает работой. Нельзя стать первым в чем-либо, не имея сил принести что-то в жертву.

– Но...

– Твоя жизнь не принадлежит тебе, Питер, если ты действительно метишь высоко. Ты не можешь позволить себе потакать собственным капризам, как это делают обыкновенные люди. А они могут, потому что это ни на что существенно не повлияет. Дело не в тебе, не во мне, не в наших чувствах. Дело в твоей карьере, Питер. Нужна сила, чтобы отречься от себя и завоевать уважение других.

– Ты просто не любишь Кэти и делаешь это из собственного предубеждения...

– С какой стати мне ее не любить? Ну конечно, я не могу сказать, что одобряю девушку, которая так мало считается со своим любимым, что готова бежать к нему и расстраивать его по пустякам, и просит его вышвырнуть свое будущее в окошко только потому, что ей пришла в голову какая-то бредовая идея. Отсюда видно, на какую помощь можно рассчитывать от подобной жены. Что до меня, то если ты думаешь, что я за себя беспокоюсь, ты просто слеп, Питер. Разве ты не видишь, что лично для меня это был бы идеальный брак? Потому что с Кэтрин у меня не было бы никаких проблем, мы бы прекрасно ладили, она была бы почтительной и послушной невесткой. С другой же стороны, мисс Франкон...

Он поморщился. Он знал, что без этого не обойдется. Это был единственный предмет, упоминания которого он боялся.

– Да-да, Питер, – тихо и твердо сказала миссис Китинг. – Нам нельзя об этом не говорить. Так вот, я уверена, что никогда не смогла бы поладить с мисс Франкон, такая элегантная светская девушка вообще не пожелает считаться с такой заурядной и необразованной свекровью, как я. Скорее всего, она попросту выживет меня из дому. Да, Питер. Но, понимаешь, я думаю не о себе.

– Мама, – хрипло сказал он. – Все, что ты сейчас сказала относительно моих шансов с Доминик, – полная чушь. Я да-

же не уверен, что эта дикая рысь вообще захочет взглянуть на меня.

– Отступаешь, Питер. Было время, когда ты ни за что в жизни не признался бы, что существует нечто, чего тебе не получить.

– Но я не хочу ее, мама.

– Ах, не хочешь, да? Вот ты и попался! Именно об этом я и говорю! Посмотри на себя! Франкон, лучший архитектор в городе, души в тебе не чаёт. Он практически умоляет тебя стать его партнером – в твоём-то возрасте, через головы стольких заслуженных людей. Он не просто разрешает, он просит тебя жениться на его дочери! А завтра ты явишься и представишь ему это маленькое ничтожество, на котором взял и женился! Перестань на минуточку думать о себе и подумай о других! Как по-твоему, ему это понравится? Ему понравится, когда ты предъявишь ему эту трущобную крыску, которую предпочел его дочери?

– Ему это не понравится, – прошептал Китинг.

– Еще бы! Могу биться об заклад на что угодно, что он тут же вышвырнет тебя на улицу! Он найдет множество таких, кто с радостью устремится на твоё место. Как, например, на счет Беннета?

– Ну нет! – прохрипел Китинг так яростно, что мать поняла, что попала в яблочко. – Только не Беннет!

– Да! – торжествующе сказала она. – Беннет! Так оно и будет. «Франкон и Беннет». А ты будешь обивать пороги в

поисках работы! Зато у тебя будет жена! О да, у тебя будет жена!

– Мама, прошу тебя... – прошептал он с таким отчаянием, что она позволила себе продолжать, вовсе не сдерживаясь:

– Такая вот жена у тебя будет. Неуклюжая девчонка, которая не знает, куда девать ноги и руки. Робкое и глупое создание, которое будет прятаться от любого мало-мальски значительного человека, которого ты захочешь пригласить в дом. Так ты считаешь себя таким замечательным? Не обольщайся, Питер Китинг! Ни один великий человек не достиг вершины в одиночку. И нечего отмахиваться – лучшим из них всегда помогала женщина, подходящая женщина. Ведь твой Франкон не женился на кухарке, какое там! Хоть на минутку попробуй взглянуть на вещи глазами других. Что они подумают о твоей жене? Что они подумают о тебе? Не забывай, на жизнь не зарабатываешь, строя ларьки для содовой! Тебе придется вести игру так, как это видится великим мира сего. Надо стремиться выйти на их уровень. Что они подумают о человеке, который женился на таком затрапезном пучке кисеи? Будут они тобой восхищаться? Доверять будут? Уважать?

– Замолчи! – крикнул он.

Но она продолжала. Она говорила долго, а он сидел, свирепо щелкая костяшками пальцев, и время от времени стонал:

– Но я люблю ее!.. Я не могу, мама... Я люблю ее...

Она отпустила его, только когда улицы сделались серыми от утреннего света. Она позволила ему, пошатываясь, удалиться в свою комнату под аккомпанемент ее последних слов, ласковых и усталых:

– По крайней мере, Питер, это в твоих силах. Всего несколько месяцев. Попроси ее подождать всего несколько месяцев. Хейер может умереть в любой момент, а как только станешь полноправным партнером, ты сможешь на ней жениться, избежав самых неприятных последствий такого брака. Если она тебя любит, она не откажется подождать еще совсем немного... Подумай, Питер... И подумай еще о том, что если решишь жениться сейчас, то разобьешь сердце своей матери. Это, конечно, совершенные пустяки, но обрати на это хоть чуточку внимания. Думая о себе час, подумай и о других минутку...

Он не пытался заснуть. Он, не раздеваясь, несколько часов просидел на своей кровати, и яснее всего в его мозгу проступало желание перенестись на год вперед, когда все уже утрясется, причем безразлично как.

Когда он звонил в дверь квартиры Кэтрин в десять часов, он еще ничего не решил. Он смутно чувствовал, что она возьмет его за руку, поведет, будет настаивать – и тогда все решится само собой.

Кэтрин открыла дверь и улыбнулась – весело и доверчиво, будто вчера ничего не произошло. Она провела его в свою комнату, где яркий солнечный свет заливал стопки книг и

бумаг, аккуратно разложенные у нее на столе. В комнате было чисто прибрано, ворсинки ковра улеглись полосками, оставленными пылесосом. На Кэтрин была накрахмаленная блузка из жесткой кисеи, рукава стойко и весело поднимались над ее плечами. В солнечном свете в ее волосах вспыхивали маленькие пушистые искорки. Он на мгновение почувствовал легкое разочарование – ничего зловещего его здесь не поджидало. Разочарование смешивалось с облегчением.

– Я готова, Питер, – сказала она. – Достань мое пальто.

– Ты дяде сказала? – спросил он.

– Да. Вчера ночью. Он все еще работал, когда я вернулась.

– И что он сказал?

– Ничего. Просто засмеялся и спросил, какой я хочу свадебный подарок. Но он так смеялся!

– Где он? Разве он не хочет хотя бы познакомиться со мной?

– Ему пришлось пойти в редакцию своей газеты. Он сказал, что будет еще достаточно времени, чтобы ты ему до смерти надоел. Но он сказал это так мило!

– Послушай, Кэти, я... я хотел сказать тебе одну вещь. – Он замялся, не глядя на нее. – Видишь ли, дело вот в чем: Лусиус Хейер, партнер Франкона, очень болен, и говорят, жить ему недолго. Франкон вполне откровенно намекал, что я займу место Хейера. Но Франкон вбил себе в голову женить меня на своей дочери. Только не пойми меня превратно, этому не бывать, но я не могу открыто заявить ему об

этом. И я подумал... я подумал, что, если бы мы повременили... хотя бы несколько недель... Я получу место, и тогда Франкон ничего не сможет со мной сделать, если я скажу ему, что женат... Но все, конечно, будет, как ты скажешь. – Он смотрел на нее, и голос его дрожал от нетерпения. – Если ты хочешь, чтобы мы поженились сегодня, мы пойдем немедленно.

– Но, Питер, – спокойно сказала она, хотя и была удивлена его предложением. – О чем ты говоришь? Конечно же, мы подождем.

Он улыбнулся, одобрительно и облегченно прикрыв глаза.

– Конечно, мы подождем, – твердо сказала она. – Я не знала об этой ситуации, но это очень важно. Так что нет никаких причин торопиться.

– Ты не боишься, что мною завладеет дочь Франкона?

Она рассмеялась:

– Ох, Питер, я слишком хорошо тебя знаю!

– Но все же, если ты предпочла бы...

– Нет, так будет намного лучше. Видишь ли, честно говоря, я сегодня утром подумала, что нам лучше подождать. Но не хотела ничего говорить, если уж ты решился. Но раз ты предпочел бы подождать, я тоже лучше повременю. Понимаешь, сегодня утром сказали, что дядю приглашают повторить курс лекций в каком-то ужасно важном университете на Западном побережье этим летом. Мне было так совестно бросать его с незаконченной работой. И еще я подумала, что

мы, наверное, поступаем не очень умно, мы ведь оба еще так молоды. И дядя Эллсворт так смеялся. Понимаешь, действительно мудрее немного подождать.

– Да. Хорошо. Но, Кэти, если ты настроена, как вчера вечером...

– Да нет же! Мне так стыдно за себя. Ума не приложу, что на меня вчера нашло. Стараюсь все припомнить и ничего не понимаю. Знаешь, как это бывает. Потом так глупо себя чувствуешь. На другой день все так ясно и просто. Я вчера много чепухи наговорила?

– Ну, не будем об этом. Ты же разумная девочка. Мы оба разумные. И мы подождем чуть-чуть, совсем недолго.

– Да, Питер.

Внезапно он страстно, почти отчаянно сказал:

– Кэти, *потребуй*, чтобы это было сейчас.

И глупейшим образом рассмеялся, как будто говорил не всерьез. В ответ она весело улыбнулась.

– Вот видишь, – сказала она, разведя руками.

– Ну... – пробормотал он. – Ну хорошо, Кэти. Мы подождем. Конечно, так будет лучше. Я... я побежал. В бюро опаздываю. – Он почувствовал, что сейчас, сегодня ему надо бежать из ее комнаты. – Я позвоню. Давай завтра вместе поужинаем.

– Да, Питер. Это будет замечательно.

Он ушел, испытывая и облегчение, и безутешное горе, браня себя за тупое настойчивое ощущение, говорившее, что

он упустил шанс, который никогда не повторится. Что-то на-
двигалось на них, и они капитулировали перед неведомой
опасностью. Он бранился, потому что не мог определить, с
чем же именно им надо было выйти на бой. Он поспешил в
бюро – ведь он опаздывал на встречу с миссис Мурхед.

После его ухода Кэтрин стояла посреди комнаты и недо-
умевала: почему ей вдруг сделалось так пусто и холодно, по-
чему только в этот момент она поняла, что ей больше всего
хотелось, чтобы он *заставил* ее пойти с ним. Потом она по-
жала плечами, укоризненно улыбнулась самой себе и верну-
лась к работе, ожидавшей на письменном столе.

XIII

Как-то октябрьским днем, когда строительство дома Остина Хэллера подходило к концу, от маленькой группки людей, стоявших через дорогу и разглядывавших дом, отделился долговязый молодой человек и подошел к Рорку.

– Это вы построили дурдом? – спросил он очень неуверенно.

– Если вы имеете в виду этот дом, то да, – ответил Рорк.

– О, приношу свои извинения, сэр. Просто этот дом тут так прозвали... Я бы его так не назвал. Видите ли, у меня тоже есть заказ... Ну, не то чтобы дом – я собираюсь построить собственную заправочную станцию милях в десяти отсюда, на почтовом тракте. Я бы хотел с вами поговорить.

Позднее, на скамье перед гаражом, где он работал, Джими Гоуэн рассказал все подробности и добавил:

– И тут я подумал о вас, мистер Рорк, потому что мне понравился ваш чудной дом. Не понимаю почему, но мне он нравится. В нем, по-моему, все как-то разумно. И еще я подумал, что все на него смотрят, разинув рот, и говорят о нем. Положим, жилому дому от этого пользы мало, но для служебного здания это очень привлекательно. Пускай себе хихикают, зато ведь и говорить много будут. И я решил предложить вам построить мне станцию. Скажут, что я сошел с ума. Не знаю, как вас, а меня лично это совсем не волнует.

Джимми Гоуэн пятнадцать лет работал как вол, копил деньги на собственное дело. К его выбору архитектора все отнеслись неодобрительно и говорили об этом с возмущением. Джимми не проронил ни слова в свою защиту и не вдавался в объяснения, он лишь вежливо говорил: «Может, и так, ребята, может, и так». И предоставил Рорку полную свободу действий.

Станция открылась в конце декабря. Она выходила прямо на Бостонский почтовый тракт и представляла собой два небольших строения из стекла и бетона, образующих полукруг среди деревьев – цилиндр служебного здания и длинный низкий овал закусочной, а между ними встала колоннада заправочных автоматов. Во всем доминировали окружности, здесь не было ни углов, ни прямых линий. Сооружение словно собрали из изгибов морской волны, замершей на мгновение, перед тем как разбиться о камни, изгибов, которые сплелись в столь гармоничные формы, что сотворить их могла, казалось, только природа, но никак не воля человека. Еще станция была похожа на гроздь пузырьков, низко висящих над землей и совершенно ее не касающихся. Создавалось впечатление, что воздушный вихрь от пролетавших мимо автомобилей вот-вот сметет эти пузырьки. Кроме того, у станции был нарядный, веселый вид – так ярко, бодро, крепко выглядит новенький мощный самолет. Рорк заехал на станцию в день открытия. Он пил кофе из чистой белой кружки за стойкой закусочной и наблюдал за автомобиля-

ми, останавливающимися у дверей. Уехал он поздно ночью. Ведя машину по длинной пустой дороге, он взглянул назад. Огни станции мерцали, уплывая прочь. Она стояла там, на перекрестке двух дорог, и автомобили будут течь мимо нее днем и ночью, приезжая из городов, где не было места для подобных зданий, и уезжая в города, где не найдется ничего похожего. Он перевел взгляд на дорогу перед собой и больше не смотрел в зеркальце, в котором все еще мягко подмигивали удалявшиеся точки света.

Потом наступило многомесячное бездействие. Каждое утро он сидел в своем бюро, потому что знал: он должен сидеть там, сидеть и глядеть на дверь, которая никогда не открывалась; он сидел, не снимая руки с телефона, который никогда не звонил. В пепельницах, которые он опустошал каждый день перед уходом, были только его собственные окурки.

– И как ты борешься с таким положением дел? – спросил его однажды вечером за обедом Остин Хэллер.

– Никак.

– Но ты должен.

– Я ничего не могу с собой сделать.

– Тебе надо научиться обращаться с людьми, находить к каждому особый подход.

– Не могу.

– Почему?

– Я с детства лишен нужного для этого чувства.

– Оно приобретается.

– У меня нет органа, которым его приобретают. Не знаю, то ли мне недостает чего-то, то ли во мне есть что-то лишнее. Кроме того, я не люблю людей, к которым нужен особый подход.

– Но нельзя же просто сидеть и ничего не делать. Нужно искать заказы.

– И *что* мне говорить, чтобы получить заказ? Я могу показать свою работу. Если они ее не поймут, то не услышат никаких слов. Сам я для них ничто, и связывает их со мной только моя работа. И ничего сверх того я им говорить не хочу.

– Что же ты собираешься делать? Тебя такое положение дел не беспокоит?

– Нет. Я предполагал, что так будет. Я жду.

– Чего?

– Людей *моего* склада.

– То есть?

– Не знаю. Нет, вообще-то знаю, но не могу объяснить. А хотелось бы. Должен же быть какой-то общий признак, но какой – я не знаю.

– Прямота?

– Да... Нет, только отчасти. Гай Франкон – прямой человек, но это не то. Смелость? Ралстон Холкомб по-своему очень смел... Я не знаю. Все прочее в жизни для меня куда яснее. Но я могу определить человека моего типа по лицу,

по какому-то особому выражению. Мимо твоего дома и мимо бензоколонки будут проходить тысячи людей. Если хоть один из тысячи остановится и увидит их – все, больше мне ничего не надо.

– Выходит, тебе все-таки не обойтись без других, а, Говард?

– Конечно. Над чем ты смеешься?

– Я всегда считал тебя самым антиобщественным животным из всех, с кем имел удовольствие встречаться.

– Мне нужны люди, чтобы получать от них работу. Я же не мавзолеи строю. А по-твоему, надо, чтобы они мне были нужны еще для чего-нибудь? Для чего-то очень личного?

– В очень личном плане тебе никто не нужен.

– Точно, не нужен.

– Ты даже не гордишься этим.

– А нужно гордиться?

– У тебя не получится. Ты даже для этого слишком высокомерен.

– Неужели я такой?

– А ты не знаешь, какой ты?

– Нет. Во всяком случае, не знаю, как меня воспринимаешь ты или кто-то другой.

Хэллер сидел и молча чертил сигаретой круги в воздухе. Затем он рассмеялся и сказал:

– Очень характерно.

– Что?

– Что ты не попросил меня сказать, каким я тебя вижу. Любой другой попросил бы.

– Извини. Тут дело не в безразличии. Ты один из немногих моих друзей, которых я не хотел бы терять. Мне просто в голову не пришло спросить.

– Я знаю. В том-то все и дело. Ты – эгоцентричное чудовище, Говард. И самое ужасное, что ты этого совершенно не сознаешь.

– Это так.

– Признавая это, следовало бы выказать хоть какое-то беспокойство.

– Зачем?

– Знаешь, что ставит меня в тупик? Ты самый бесчувственный человек, которого я знаю. И я не могу понять, почему, зная, что ты настоящий дьявол, почему, когда я вижу тебя, мне всякий раз кажется, что из всех, кого я когда-либо встречал, ты человек самой щедрой души.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не знаю. Только то, что сказал.

Шли недели. Рорк каждый день приходил в свою контору, садился за письменный стол и в течение восьми часов читал, много читал. В пять он уходил домой. Он перебрался в комнату получше и поближе к бюро. Тратил он мало, и у него было достаточно денег, чтобы жить так довольно долго.

Однажды утром в феврале телефон зазвонил. Живой и

выразительный женский голос попросил о встрече с мистером Рорком, архитектором. В тот же день в бюро вошла маленькая проворная смуглая женщина, одетая в норковую шубку; экзотические серьги в ее ушах позвякивали от частого, по-птичьи резкого и мелкого подергивания головой.

Миссис Уайн Уилмот с Лонг-Айленда⁵⁶ желала построить загородный дом. Она выбрала мистера Рорка, как она объяснила, потому что он спроектировал дом Остина Хэллера, а она обожает Остина Хэллера, который, по ее словам, является оракулом для всех, кто хоть отчасти претендует на звание прогрессивного интеллектуала, так ей кажется – а разве нет? – и фанатически ему предана, да, без преувеличения, фанатически. Мистер Рорк очень молод, не так ли? Но она ничего против не имеет, она – большая либералка и рада помогать молодежи. Ей хочется иметь большой дом, у нее двое детей, и она полагает, что в них нужно развивать индивидуальность – а разве нет? – и поэтому каждому из них нужна отдельная детская, а у нее самой должна быть библиотека – «я зачитываюсь до безумия», – музыкальная комната, оранжерея – «мы выращиваем ландыши, друзья сказали, что это мой цветок», – и каморка, небольшой уютный кабинет для мужа, слепо доверяющего ей и позволившего самой заниматься строительством дома, – «потому что я прямо-таки

⁵⁶ *Лонг-Айленд* – низменный остров в Атлантическом океане, у берегов США; за исключением западной части, где расположены районы Нью-Йорка Бруклин и Квинс, территория острова занята дачными поселками, парками и пляжами.

создана для этого; если бы я не была женщиной, я, конечно, стала бы архитектором», – комнаты для прислуги, гараж на три машины и прочее. После полутора часов подробных объяснений она сказала:

– И конечно, что касается стиля, то это должен быть английский тюдор. Я обожаю английский тюдор.

Он посмотрел на нее и медленно спросил:

– Вы видели дом Остина Хэллера?

– Нет. Мне хотелось бы посмотреть, только как? Я не знакома с мистером Хэллером лично, я только его поклонница, так, простая, обыкновенная поклонница. Каков он из себя? Вы должны рассказать мне, я до смерти хочу услышать это, нет, я не видела его дом, он же где-то в штате Мэн, не так ли?

Рорк вынул фотографии из ящика стола и передал их ей.

– Это, – сказал Рорк, – дом Хэллера.

Она взглянула на фотографии – ее быстрый взгляд словно вода мазнул по глянцевой поверхности – и бросила их на стол.

– Очень интересно, – сказала она, – крайне необычно, совершенно ошеломляюще. Но конечно, это не то, что я хочу. Дом такого типа не выразит моего характера. Друзья говорят, что у меня характер елизаветинского склада⁵⁷.

⁵⁷ ...характер елизаветинского склада. – Относящийся ко времени правления английской королевы Елизаветы I Тюдор (1558–1603) – эпохе, когда на историческую сцену выступили незаурядные личности широкого масштаба, разносторонних талантов, нередко наделенные дерзкой предприимчивостью вплоть до авантюризма.

Он попытался спокойно и терпеливо объяснить, почему не следует строить тюдор. Она прервала его в середине фразы:

– Послушайте, мистер Рорк, уж не пытаетесь ли вы меня учить? Я абсолютно уверена в том, что у меня хороший вкус, и я много знаю об архитектуре – я брала специальные уроки в клубе. Друзья говорят, что я знаю больше многих архитекторов. Я вполне утвердилась в намерении построить дом в стиле английский тюдор и не желаю спорить об этом.

– Тогда вам нужно обратиться к какому-нибудь другому архитектору, миссис Уилмот.

Она ошеломленно уставилась на него:

– Вы хотите сказать, что отказываетесь от заказа?

– Да.

– Вы не хотите принять мой заказ?

– Нет.

– Но почему?

– Я не строю таких домов.

– Но я думала, архитекторы...

– Да. Архитекторы построят вам все, что вы попросите.

Любой архитектор в городе, кроме меня.

– Но я в первую очередь дала шанс вам.

– Сделайте одолжение, миссис Уилмот, скажите, почему вы пришли ко мне, если вам нужен тюдор?

– Ну, я, конечно, думала, что вы будете мне благодарны за такую возможность. И потом, мне хотелось бы сказать своим

друзьям, что для меня строил архитектор Остина Хэллера.

Он пытался объяснить, переубедить ее. Но, пока говорил, понял, что это бесполезно: его слова звучали так, будто попадали в вакуум, в котором не было никакой миссис Уилмот, а была только оболочка, набитая мнениями друзей, картинками с почтовых открыток, проглоченными романами о сельских сквайрах. Именно в этой оболочке и увязали его слова – в чем-то пустом, не слышащем его и не реагирующем, глухом и безличном, как ватный тампон.

– Извините, – сказала миссис Уайн Уилмот, – но я не привыкла иметь дело с людьми, абсолютно неспособными мыслить здраво. Я совершенно уверена, что найду многих более уважаемых людей, которые будут рады работать для меня. Мой муж с самого начала был против идеи пригласить вас, и, к величайшему сожалению, он оказался прав. Прощайте, мистер Рорк.

Она вышла с достоинством, но хлопнула дверью. Рорк смахнул фотографии обратно в ящик стола.

Мистер Роберт Л. Манди, пришедший в контору Рорка в марте, был послан Остином Хэллером. Голос и волосы мистера Манди были серыми, как сталь, а голубые глаза – мягкими и печальными. Он хотел построить дом в Коннектикуте и говорил об этом с трепетом новобрачного.

– Это не просто дом, мистер Рорк, – сказал он с робкой неуверенностью, словно говорил с человеком старше или из-

вестнее себя, – он как... как символ для меня... как памятник. Он то, чего я ждал и для чего работал все эти годы. Так много лет... Я должен рассказать вам об этом, и тогда вы поймете. У меня теперь много денег – столько, что мне и думать о них не хочется. Но я не всегда был богат. Наверное, деньги пришли ко мне слишком поздно. Не знаю. Молодые думают, что, достигнув цели, забываешь, что произошло по пути к ней. Не забываешь. Что-то остается. Я всегда буду помнить себя мальчишкой – это было в маленьком городке в Джорджии, в глуши, – как я был посыльным у шорника и как дети смеялись, когда проезжавшие кареты окатывали мои штаны грязью сверху донизу. Уже тогда я решил, что когда-нибудь у меня будет собственный дом – такой дом, к которому подъезжают кареты. А потом, как бы порой ни приходилось трудно, я всегда думал о своем доме, и становилось легче. Потом настали годы, когда я боялся, я мог построить дом, но боялся. Ну а теперь время пришло. Вы понимаете, мистер Рорк?

– Да, – с чувством отозвался Рорк, – понимаю.

– Там, неподалеку от моего родного города, – продолжал мистер Манди, – была усадьба, самая большая во всем округе. Рандольф-Плейс – старый плантаторский дом, каких больше не строят. Я иногда доставлял туда, к его задней двери, всякие товары. Именно такой дом мне и нужен, мистер Рорк. Точно такой же. Но не там, в Джорджии. Я не хочу возвращаться. Прямо здесь, за городом. Я купил землю. Вы

должны помочь мне обустроить участок так же, как в Рандольф-Плейс. Мы посадим деревья и кусты, цветы и все прочее точно как там, в Джорджии. Мы придумаем, как сделать так, чтобы они росли. Мне плевать, сколько это будет стоить. Конечно, у нас будут электрические фонари и гаражи для машин, а не каретные сараи. Но я хочу, чтобы фонари были сделаны как свечи, а гаражи выглядели как конюшни. Все точно так, как было там. У меня есть фотография Рандольф-Плейс, и я купил кое-что из их старой мебели.

Когда Рорк начал говорить, мистер Манди слушал с вежливым недоумением. Его даже не возмущали слова Рорка, они до него просто не доходили.

– Неужели вы не видите? – говорил Рорк. – Вы хотите построить памятник, но памятник не себе, не вашей собственной жизни и достижениям, а другим людям, их превосходству над вами. Вы не подвергаете его сомнению, вы даете ему бессмертие. Вы не только не отказываетесь признать их превосходство над собой – вы хотите его увековечить. Когда же вы будете счастливы – если на всю оставшуюся жизнь запретьесь в этом чужом, заимствованном доме или если разом обретете свободу и построите новый дом, свой собственный? Вам нужен вовсе не Рандольф-Плейс. Вам нужно то, что этот дом символизирует. Но символизирует он то, с чем вы боролись всю жизнь.

Мистер Манди слушал, ничего не понимая, и Рорк снова ощутил странную беспомощность перед нереальностью:

не было никакого мистера Манди, были только останки давно умерших людей, населявших когда-то Рандольф-Плейс. А можно ли убедить в чем-либо останки?

– Нет, – сказал наконец мистер Манди. – Нет. Может, вы и правы, но я этого совсем не хочу. Нет, ваши доводы вполне убедительны, только мне нравится Рандольф-Плейс.

– Почему?

– Просто потому, что он мне нравится.

Когда Рорк сказал, что ему придется подыскать другого архитектора, мистер Манди неожиданно проговорил:

– Но вы мне нравитесь. Почему вы не можете построить это для меня? Какая вам разница?

Рорк не стал объяснять.

Позднее Остин Хэллер сказал ему:

– Я ожидал этого. Я боялся, что ты откажешь ему. Я тебя не осуждаю, Говард, просто он так богат. Это могло бы тебе очень помочь. Жить-то надо, в конце концов.

– Надо, – ответил Рорк. – Но не так.

В апреле Рорку позвонил мистер Натаниел Йенс из компании по торговле недвижимостью «Йенс и Стюарт». Мистер Йенс был прям и откровенен. Он заявил, что его компания планирует возведение небольшого делового здания – этажей в тридцать – на нижнем Бродвее и что лично он не в восторге от кандидатуры Рорка, но его друг Остин Хэллер настоял на том, чтобы он встретился с Рорком и поговорил; мистер

Йенс не слишком высокого мнения о работах Рорка, но Хэллер буквально истерзал его, и он выслушает Рорка, прежде чем принять решение. Что Рорк скажет по этому поводу?

У Рорка было что сказать. Он говорил спокойно. Поначалу ему было трудно, потому что он так хотел построить это здание, что чувствовал страстное желание вырвать заказ у Йенса хоть под дулом пистолета, если бы у него был пистолет. Но через несколько минут все стало легко и просто, мысли об оружии исчезли, исчезло даже желание строить это здание; никакой речи о заказе как бы не было, он всего-навсего говорил об архитектуре.

– Мистер Йенс, когда вы покупаете автомобиль, вы ведь не хотите, чтобы у него были гирлянды из роз на окнах, львы на крыльях или ангел на капоте. Почему?

– Это было бы глупо, – изрек мистер Йенс.

– Почему глупо? А по-моему, это было бы прекрасно. Кроме того, у Людовика Четырнадцатого была такая карета, а то, что подходило Людовику, подходит и нам. Мы не должны увлекаться поспешными нововведениями и порывать с традицией.

– Вы ведь сами, черт возьми, в это не верите.

– Знаю, что не верю. Но вы-то верите, не так ли? Теперь возьмем человеческое тело. Почему вам не хочется видеть его с изогнутым хвостом, с пучком страусовых перьев на кончике? Или с ушами в форме листьев аканта? Это было бы украшением, знаете ли, а то мы имеем абсолютно голое без-

образии. Ну почему вам не нравится эта идея? Потому, что это было бы бесполезно и неуместно. Потому, что красота человеческого тела в том, что в нем нет ни единой мышцы, которая бы не служила своей цели, в том, что ни одна линия не пропущена, и в том, что все члены соответствуют одной идее – идее человека и человеческой жизни. Так скажите же мне, почему, когда речь идет о здании, вы не хотите подумать, что в нем есть какой-то смысл и назначение, почему вы хотите задушить его украшениями, принести его содержание в жертву оболочке – не зная даже, почему именно такой оболочке? Вы хотите, чтобы оно выглядело как чудовищный гибрид, полученный от скрещивания ублодков десяти разных видов, создание без внутренностей, сердца и мозгов, но в шкуре, с хвостом, когтями и перьями. Почему? Вы должны сказать мне, потому что я не способен этого понять.

– Хорошо, – сказал мистер Йенс. – Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. – И добавил без большой уверенности: – Но мы хотим, чтобы в нашем здании было достоинство, понимаете, и красота, которую называют настоящей красотой.

– Какой красотой? И кто называет?

– Ну-у...

– Скажите, мистер Йенс, вы действительно думаете, что греческие колонны и корзинки с фруктами прекрасны на современном административном здании из стали?

– Вряд ли я когда-нибудь задумывался, почему то или

иное здание прекрасно, – признался мистер Йенс, – но, по моему, людям нравится что-то в этом роде.

– Почему вы полагаете, что им это нравится?

– Не знаю.

– Тогда почему вас должно беспокоить, что им нравится?

– Надо считаться с людьми.

– Разве вы не знаете, что большая часть людей берет что дают и не имеет ни о чем собственного мнения? Вы хотите руководствоваться их представлениями о том, что вам надлежит думать, или своими собственными суждениями?

– Но нельзя же силой навязывать им свои суждения.

– И не надо. Надо только набраться терпения, потому что на вашей стороне здравый смысл – о, я знаю, что такого союзника на самом деле никто себе не пожелает, – а против вас просто бессмысленная, тупая и слепая инерция.

– Почему вы решили, будто я не хочу, чтобы здравый смысл был на моей стороне?

– Не вы лично, мистер Йенс, это желание большинства людей. Они плывут по течению, просто плывут по течению, но они чувствуют себя намного уютнее, когда знают, что плывут в безобразии, тщеславии и глупости.

– А знаете, вы правы, – сказал мистер Йенс.

В завершение разговора мистер Йенс задумчиво сказал:

– Не могу сказать, что наша беседа была совсем уж бесполезной, мистер Рорк. Позвольте мне все обдумать. Я скоро дам о себе знать.

Мистер Йенс позвонил ему неделю спустя:

– Совет директоров должен будет принять решение. Хотите рискнуть, Рорк? Сделайте чертежи и несколько предварительных эскизов. Я представлю их совету. Ничего не могу обещать, но я за вас и буду стоять на этом.

Две недели днем и ночью Рорк работал над чертежами. Они были представлены. Затем он был вызван на совет директоров компании «Йенс и Стюарт». Он стоял сбоку от длинного стола и говорил, медленно переводя взгляд с одного лица на другое. Он старался не смотреть на стол, но краем глаза все же улавливал белое пятно своих рисунков, разложенных перед двенадцатью мужчинами. Ему задали множество вопросов. Иногда мистер Йенс вскакивал отвечать за него, колотил кулаком по столу и рычал: «Вы что, не видите? Разве это не понятно?.. Что из этого, мистер Грант? Что, если никто не строил ничего подобного?.. Готика, мистер Хаббард? Зачем нам обязательно готика?.. Я ведь могу и в отставку подать, если вы от этого проекта откажетесь!»

Рорк говорил спокойно. Здесь, в этой комнате, он единственный чувствовал уверенность в собственных словах. Он чувствовал также, что все это безнадежно. Двенадцать лиц, обращенных к нему, имели разное выражение, но во всех было нечто общее, не цвет и не какая-то характерная черта, а некий общий знаменатель – они казались ему не лицами, а лишь плоскими овалами из плоти. Он обращался ко всем и ни к кому. Он не ощущал ответной реакции, не чувствовал,

что его слова отдаются в мембранах чужих барабанных перепонок. Его слова падали в колодец, натыкались в падении на каменные выступы, рикошетом отскакивали от них и летели дальше, вниз, в бездонную пучину.

Ему было сказано, что его известят о решении совета. Он знал это решение заранее. Получив письмо, он прочитал его равнодушно. Письмо было от мистера Йенса и начиналось словами: «Дорогой мистер Рорк, мне жаль сообщать вам, что наш совет директоров счел невозможным поручить вам...» В жестокой, оскорбительной официальности письма слышалась мольба – мольба человека, который не мог показаться ему на глаза.

Джон Фарго начинал уличным торговцем с ручной тележкой. К пятидесяти годам он владел скромным капиталом и процветающим магазином в нижней части Шестой авеню. В течение многих лет он успешно боролся с большим магазином на другой стороне улицы, одним из многих принадлежавших некой большой семье. Прошлой осенью хозяева перевели этот магазин в новые кварталы, поближе к окраине. Они были убеждены, что центр розничной торговли в городе перемещается на север, и решили ускорить крах прежнего соседа, оставив старый магазин пустовать, чтобы он своим видом смущал бывшего конкурента и служил ему зловещим предостережением. В ответ Джон Фарго заявил, что построит новый магазин в том же самом месте, по соседству со ста-

рым. Самый новый и привлекательный, каких в городе еще не видели. Он заявил, что сохранит престиж старого квартала.

Пригласив Рорка в свою контору, он не стал говорить, что должен все обдумать, а потом принять решение. Он сказал:

– Из нас архитектор – ты. – Он сидел, положив ноги на стол, и курил трубку, выпуская слова попеременно с клубами дыма. – Я скажу тебе, сколько мне нужно места и сколько хочу потратить. Если нужно больше – говори. Остальное решай сам. Я мало знаю о строительстве, но знающего человека узнаю с первого взгляда. Действуй.

Фарго выбрал Рорка, потому что однажды ехал мимо автостанции Гоуэна, остановился, вошел внутрь и задал несколько вопросов. А после этого подкупил повара Хэллера, чтобы тот провел его по дому в отсутствие хозяина. Других аргументов ему не требовалось.

В конце мая, когда рабочий стол Рорка был завален эскизами магазина Фарго, он получил еще один заказ.

Мистер Уайтфорд Сэнборн, неожиданный заказчик, был владельцем делового центра, много лет назад построенного для него Генри Камероном. Когда мистер Сэнборн решил, что ему нужна новая загородная резиденция, он отверг предложенных женой других архитекторов. Он написал Генри Камерону. Камерон ответил письмом на десяти страницах. В трех первых строках он заявил, что удалился от дел. Все

остальное было о Говарде Рорке. Рорк так и не узнал, что было в этом письме, – Сэнборн не показывал его, а Камерон не говорил. Но Сэнборн нанял его строить загородную резиденцию, несмотря на яростные протесты миссис Сэнборн.

Миссис Сэнборн являлась президентом многих благотворительных организаций, и это развило в ней такую склонность к властолюбию, как никакое другое занятие. Миссис Сэнборн желала построить в новом имении на Гудзоне французский замок-шато. Она желала, чтобы он выглядел величественным и старинным, словно всегда принадлежал их семье; конечно, признавала она, люди будут знать, что это не так, но, по крайней мере, он будет таким казаться.

Мистер Сэнборн подписал контракт после того, как Рорк подробно объяснил ему, какого типа дом он намеревается построить. Мистер Сэнборн с готовностью согласился, не пожелав даже дождаться эскизов.

– Но, Фанни, – устало говорил он жене, – я хочу *современный* дом. Я уже давно говорил тебе об этом. Такой, какой мог бы спроектировать Камерон.

– Скажи мне, ради Бога, кто сейчас помнит, кто такой Камерон? – спрашивала она.

– Не знаю, Фанни. Я знаю только, что в Нью-Йорке нет здания, равного тому, что он построил для меня.

Споры продолжались долгими вечерами в пышной викторианской гостиной Сэнборнов – темной зале, отделанной полированным красным деревом. Мистер Сэнборн колебался.

Рорк спросил, обедая гостиную широким жестом:

– Вы *этого* хотите?

– Если вы к тому же собираетесь дерзить... – начала миссис Сэнборн, но мистер Сэнборн взорвался:

– Господи, Фанни! Он прав! Как раз такого-то я и *не хочу!* Это мне и здесь надоело!

Рорк не появлялся на людях, пока эскизы не были готовы. Дом из простого камня, с огромными окнами и множеством террас стоял среди парка над рекой, широкий, как половодье, открытый, словно поляна в лесу; нужно было внимательно всматриваться в абрис дома, чтобы обнаружить, где он незаметно переходит в просторный парк, – столь плавным был подъем террас и подход к дому. Казалось, что деревья втекают в дом и проплывают сквозь него, что дом не препятствие для солнечных лучей, а чаша, собирающая их и накапливающая, отчего свет внутри дома казался ярче, чем снаружи.

Мистер Сэнборн увидел эскизы первым. Он изучил их, после чего сказал:

– Я... Я не нахожу слов, мистер Рорк. Это великолепно. Камерон в вас не ошибся.

Но после того, как эскизы увидели другие, мистер Сэнборн уже не был в этом так уверен. Миссис Сэнборн заявила, что дом ужасен, и долгие вечерние споры возобновились.

– Ну почему, почему мы не можем поставить в углах башни? – спрашивала миссис Сэнборн. – На этой плоской кры-

ше так много места.

Когда ее отговорили от этого, она осведомилась:

– Почему у нас не может быть окон с каменными стойками? Что они могут изменить? Боже правый, окна достаточно велики, однако почему они должны быть такими – я подобных не видела, они совсем не оставляют места для уединения. Я готова отнестись благосклонно к вашим окнам, мистер Рорк, если вы так упорствуете, но почему вы не можете поставить на них стойки? Это смягчит общее впечатление и придаст дому царственность, нечто такое феодальное.

Друзьям и родственникам, к которым миссис Сэнборн поспешила с эскизами, дом не понравился вовсе. Миссис Уоллинг назвала его нелепым, а миссис Хупер – грубым. Мистер Меландер сказал, что не взял бы его и даром. Миссис Эплби заявила, что он похож на обувную фабрику. Мисс Де Витт взглянула на эскизы и сказала с одобрением:

– О, как искусно, дорогая! Кто это проектировал?.. Рорк?.. Рорк?.. Никогда о нем не слышала... Откровенно говоря, здесь есть что-то надуманное.

Представители младшего поколения разошлись во мнениях по этому вопросу. Джун Сэнборн, девятнадцати лет, всегда считала, что все архитекторы романтики, и с удовольствием узнала, что у них будет очень молодой архитектор, но ей не понравилась внешность Рорка и его равнодушие к ее намекам. И она заявила, что дом отвратителен и поэтому она отказывается в нем жить. Ричард Сэнборн, двадцати че-

тырех лет, бывший в колледже блестящим студентом, а теперь медленно спивающийся, поразил семью, выплыв из своей обычной летаргии и заявив, что дом великолепен. Трудно сказать, было это заявление продиктовано эстетическим чувством, враждебностью к матери или тем и другим вместе.

Уайтфорд Сэнборн колебался в соответствии с услышанными мнениями. Он ворчал: «Ну хорошо, конечно, никаких стоек, это полная ерунда, но почему бы вам не сделать карниз, мистер Рорк, ради сохранения мира в семье? Обыкновенный такой зубчатый карниз, он ведь ничего не испортит. Или все же испортит?»

Споры окончились после того, как Рорк заявил, что не будет строить дом, если мистер Сэнборн не одобрит эскизы такими, какие они есть, и не распишется на каждом листе чертежей.

Миссис Сэнборн была весьма довольна, узнав через некоторое время, что ни один уважаемый подрядчик не берется за возведение дома. «Видишь?» – говорила она торжествующе. Мистер Сэнборн отказывался видеть. Он нашел неизвестную фирму, принявшую заказ неохотно, как особое ему одолжение. Миссис Сэнборн узнала, что в лице подрядчика обрела союзника, и в нарушение всех светских правил пригласила его на чай. У нее давно уже не было никаких вразумительных мыслей относительно дома, она просто ненавидела Рорка. Подрядчик ненавидел всех архитекторов из принципа.

Строительство дома Сэнборнов продолжалось в течение лета и осени, и каждый день возникали новые стычки. «Ну конечно, мистер Рорк, я сказала вам, что хочу в спальне три стенных шкафа, я отчетливо помню, это было в пятницу, мы сидели в гостиной, мистер Сэнборн в большом кресле у окна, а я... Что насчет чертежей? Каких чертежей? Да как вы могли подумать, что я разбираюсь в чертежах?», «Тетушка Розали говорит, что ей не по силам взбираться по винтовой лестнице, мистер Рорк. Что прикажете делать? Подбирать гостей в соответствии с домом?», «Мистер Халберт говорит, что такие перекрытия не выдержат... О да, мистер Халберт многое знает об архитектуре. Он провел два лета в Венеции», «Джун, бедняжка, говорит, что ее комната будет темной, как погреб... Ну, у нее такое чувство, мистер Рорк. Даже если комната и не темная, а просто *кажется* темной – это одно и то же». Рорк не спал ночами, переделывая чертежи, внося в них те изменения, избежать которых оказалось невозможно. Это означало многодневный снос уже возведенных перекрытий, лестниц, стен и ложилось дополнительным бременем на смету подрядчика. Подрядчик пожимал плечами: «Я вам так и говорил. Вот как бывает, когда приглашают одного из этих зазнаек-архитекторов. Погодите, вы увидите, сколько еще придется выложить, пока он управится».

Затем, когда дом был в основном построен, уже сам Рорк понял, что хочет внести изменения. Восточное крыло не удовлетворяло его с самого начала. Увидев его в камне, он по-

нял, в чем заключался просчет и как его исправить; он знал, что это изменение придаст зданию большую логичность и целостность. Он был еще неопытен в строительстве и мог открыто признать свои промахи. Но теперь уже мистер Сэнборн отказался оплатить изменения. Рорк обратился к нему с просьбой; однажды ясно увидев образ нового крыла, он больше не мог видеть дом таким, каким он был.

– В общем, – холодно сказал мистер Сэнборн, – вы, пожалуй, правы. Но мы не можем себе этого позволить. Извините.

– Это будет стоить меньше, чем бессмысленные изменения, которые меня заставила сделать миссис Сэнборн.

– Опять вы об этом. Не хватит ли?

– Мистер Сэнборн, – медленно спросил Рорк, – вы подпишете бумагу, что разрешаете эти изменения при условии, что они не будут вам ничего стоить?

– Конечно. Если вы готовы взять на себя роль чудотворца.

Он подписал. Восточное крыло было перестроено. Рорк заплатил за все сам, потратив больше, чем получил в качестве гонорара. Мистер Сэнборн колебался, он хотел возместить затраты, но миссис Сэнборн остановила его.

– Это просто грязный трюк, – сказала она, – форма давления. Он вымогает деньги, играя на твоих лучших чувствах. Он так и ждет, что ты раскошелишься. Подожди, увидишь, он еще попросит денег. А ты не давай.

Рорк не попросил. Мистер Сэнборн так и не заплатил ему. Когда строительство дома было завершено, миссис Сэн-

борн отказалась в нем жить. Мистер Сэнборн печально смотрел на новый дом. Он устал бороться и не мог признать, что любит его, что именно такой дом ему всегда хотелось иметь. Он сдался. Дом не был обставлен, миссис Сэнборн отправилась с мужем и дочерью на зиму во Флориду. «Там, – сказала она, – у нас есть приличный дом в испанском стиле. Слава Богу, мы купили его готовым!.. Вот что происходит, когда рискуешь строить дом, наняв архитектора-недоучку, к тому же идиота!» Ее сын, ко всеобщему изумлению, продемонстрировал неожиданное своеволие: он отказался ехать во Флориду; дом ему понравился, и он отказался жить где-либо еще. Для него были обставлены три комнаты. Семья уехала, а он в одиночестве перебрался в дом на Гудзоне. Ночью с реки можно было видеть одинокий маленький прямоугольник желтого света, затерянный среди темных окон огромного брошенного дома.

Бюллетень Американской гильдии архитекторов поместил небольшую заметку:

«Нам сообщили о любопытном инциденте, произошедшем с недавно построенным домом Уайтфорда Сэнборна, известного промышленника. Инцидент этот был бы забавен, если бы не был столь прискорбным. Упомянутый дом, спроектированный неким Говардом Рорком и возведенный с затратами, значительно превышающими сто тысяч долларов, был признан семьей непригодным для жилья. Он стоит теперь заброшенный как красноречивое доказательство про-

фессиональной некомпетентности».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.